

**максим кантор**

**красный свет**



# Максим Карлович Кантор

## Красный свет

*Текст предоставлен правообладателем.*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=5810462](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5810462)*  
*Кантор, М. Красный свет: АСТ; Москва; 2013*  
*ISBN 978-5-17-078451-6*

### **Аннотация**

Автор «Учебника рисования» пишет о великой войне прошлого века – и говорит о нашем времени, ведь история – едина. Гитлер, Сталин, заговор генералов Вермахта, борьба современной оппозиции с властью, интриги политиков, любовные авантюры, коллективизация и приватизация, болота Ржева 1942-го и Болотная площадь 2012-го – эти нити составляют живое полотно, в которое вплетены и наши судьбы.

# Содержание

Глава первая	4
1	4
2	7
3	10
4	22
5	24
6	25
7	27
8	28
9	31
10	34
11	38
12	41
Глава вторая	49
1	49
2	71
3	88
4	95
5	101
6	107
Конец ознакомительного фрагмента.	110

# Максим Кантор

## Красный свет

### Глава первая

#### Псих

#### 1

Выражение «рукопожатный человек» вошло в салонную жизнь Москвы в те годы, когда пожимать руку не стоило уже никому. Жест символизирует доверие, а кому теперь можно доверять?

Надо соблюдать осторожность в распределении рукопожатий, это в большом городе затруднительно. Досадные казусы случаются сплошь и рядом: ловят вора – и выясняется, что вор дружен с лучшими людьми города. Ведь не в одночасье объявляют делового человека мошенником – до того он успевает пожать тысячи благородных ладоней. Ах, сколько дворцовых полов натерто штиблетами интеллигентов, пришедших за грантами к бандитам; сколько яхтенных палуб истоптано в свободолобивом танце на днях рождения у воров! И почем знать, из каких средств будет оплачен благотворительный обед, на который позвали вечером. Неужели благородные люди питаются продуктами, приобретенными на краденое у пенсионеров? Поневоле задумаешься и спрячешь руку в карман.

Однако не все так печально – посмотрите вокруг, сколько интеллигентных лиц в нашем городе! Термин «рукопожатные» отделял круг прогрессивных людей от тех, кто не рад демократическим переменам в обществе. Радеть за либерализм естественно для прогрессивного человека, тем более что есть среди нас коммунисты и фашисты – боремся с ними, а они все живут. Казалось бы, неужели не очевидно, что прогресс и рынок лучше, чем разруха и казарма? Ан нет, находятся такие, кто тоскует по сильной руке. Прогрессивным людям пришлось поставить вопрос так: что хуже – легкое воровство или тоталитаризм? Хотелось бы сохранить репутацию вовсе незамазанной, но подвох состоял в том, что воры тоже придерживались либеральных взглядов. Возможно, воры толковали либерализм превратно, но отказаться от их трактовки не удавалось: иногда у воров просили денег. Как бы так ухитриться оградить интеллигентных людей от воров: деньги у воров брать на нужды прогресса, но непосредственно в грабеже не участвовать?

В советские годы гуляла поговорка, будто каждый человек знаком с английской королевой через три рукопожатия. Скажем, ребенок учится в школе с мальчиком, у которого папа торгпред в Лондоне и бывает в Букингемском дворце – вот и познакомились родители сопняка с королевой.

Нынче всякий интеллигент знаком с воров и убийцей всего через одно рукопожатие. Художники дружат с торговцами оружием, устраивающими им выставки. Журналисты обхаживают разбойников, купивших издательский дом. Писателям пришлось смириться с тем, что руки, вручающие им премию за роман, не столь давно вставляли паяльник в зад должнику. Неприятно про паяльник думать – и мир капитала литераторы научились воспринимать, не вдаваясь в унизительные подробности.

Светские люди кормились в редакциях и галереях; былая интеллигенция подалась в обслугу олигархов; сделать карьеру без знакомств было трудно, и, хотя все культурные люди знали, что их влиятельные знакомые – жулики, про это старались не думать. Вырабо-

тался кодекс пристойного, необременительного поведения; судили действительность избирательно: порицали чиновников-казнокрадов за взятки, а то, что меценатствующий хозяин целлюлозного комбината не ангел, – про это молчали. Статусом «рукопожатного» дорожили – но не вдавались в подробности, как далеко цепочка рукопожатий заведет.

Этак и до Сталина доберемся через три рукопожатия – вдруг выяснится, что дед работодателя служил начальником отдела НКВД? А то нарвешься ненароком на криминального авторитета: обнаружится, что либеральный богач – лидер солнцевской преступной группировки. История – штука коварная, и под прошлым подвели жирную черту. Генетически пороховая гарь не передается, к чему нам знать прошлое? Стараниями журналистов определили необходимый минимум: революция – зло, Сталин – тиран, социализм – тупик. Кому-то покажется маловато, но это хороший рабочий список убеждений. И не надо доискиваться до деталей, кто что брал и кто кого резал, – в конце концов, мы начали новую жизнь, появились иные герои, у них иные судьбы.

Так обратимся же к людям, воплотившим эпоху перемен.

Именно этим принципом руководствовался посол Франции в Москве господин Леон Адольф Леконт, проглядывая список гостей, представленный секретарем. Люди известные, состоявшиеся личности, громкие имена. Посол прочитал список, ставя утвердительные галочки против фамилий.

– А это, позвольте, кто?

– Это имя вписала мадам...

– Да-да, припоминаю, мы познакомились с парой в Греции. Милейшие люди... А это?

– Крупный российский поэт.

– Ну да, ну да... Вы стихи читали?

– Не довелось. Однако вы неоднократно приглашали этого господина к нам в посольство.

– Вот как... А это кто?

– Рекомендовали из Парижа...

– Разумеется, я в курсе. Почему я не вижу имени господина Пиганова?

– Так вот же он, на первом месте.

– Ах, как я не заметил!

И вот карточки с именами гостей расставлены на столе – продумано, кто с кем будет говорить, выдержан баланс интересов. Господин Леконт встал в дверях зала, лично приветствуя каждого, удерживая рукопожатную ладонь в своей, мягкой. Тех, кого Леон Адольф знал коротко, он привлекал ближе, троекратно целуя гостя по русскому обычаю; в цивилизованном европейском варианте поцелуй выглядел как нежное соприкосновение щек.

Имя посла демонстрировало разумный компромисс в оценке истории; пуская сына в плавание по жизни, родители снабдили его именами, уравновешивающими друг друга: Леон – в честь Блюма, Адольф – в честь Тьера. И что может быть важнее для дипломата, нежели умение избежать одномерных оценок? Рукопожатие тому, кто считает себя левым; объятие тому, кто называет себя правым. Самый облик посла Франции являл уют и согласие: легкий наплыв живота на брючный ремень, приятная округлость щек, открытая улыбка. Входи, друг, говорила улыбка, у Франции нет тайн от русского друга. Садись за общий стол и угощайся! В этих стенах нет места партийной вражде и клановым усобицам.

Гости – один значительнее другого – вливались в обеденную залу, неторопливо дефилировали вдоль стола, заглядывая в карточки с именами. Здесь все люди селекционные, просеянные через мелкое сито цивилизации. Сближенные заботой посла обменивались ласковыми рукопожатиями. Так ежедневно ковалась в московском свете цепь знакомств и пристрастий.

– Кажется, мы соседи? – О, я наслышан о вас! – Позвольте вашу рукопожатную руку. – Недвижимостью занимаетесь? – Нет, собираю антиквариат.

Разговорились, а там, глядишь, и общий интерес образовался, и бизнес наметился – так и устроен мир, этим мы все и живы.

Господин Пиганов, демократ и лидер оппозиции, раскланивается с госпожой Бенуа, представителем нефтяной компании «Элф», жмет руку литератору Ройтману. Журналист Сиповский обнимается с немецким банкиром Кохом, они, оказывается, давно знакомы через общего друга банкира Семихатова. Вместе они подходят к редактору Фрумжиной – тут же выясняется, что их усадили рядом. Пожилой политик Тушинский спешит поздороваться с молодым политиком Гачевым, архитектор Кондаков присоединяется к беседе. Как верно, как точно спроектирован праздник.

До чего досадно бывает, когда случайная ошибка приводит к конфликту: в одном месте неверно посадили гостей, и вечер испорчен. Посол прислушивался к разговору за дальним концом стола – нехорошо вышло: крупный предприниматель Семен Семенович Панчиков ввязался в ссору. С кем, любопытно, он так громко говорит? Посол Франции привстал, чтобы рассмотреть собеседника Панчикова. О чем это они?

## 2

– С чего вы взяли, что Ленин – германский шпион?

– То есть?

– Разве Ленин был шпионом?

Семен Панчиков даже растерялся: таких вещей не знать! Азы, можно сказать, отечественной истории.

– Помилуйте, ну хоть что-то вы читали... Нельзя же вот так... Вы что, совсем ничего не знаете?

– Как раз очень интересуюсь.

– Стало быть, слышали о том, как Ленина везли из эмиграции в специальном поезде, в plombированном вагоне – прямо в Россию, на Финляндский вокзал. Наверняка слышали, как готовили эту акцию с помощью немецких спецслужб, как снабжали партию большевиков германскими марками! Миллионы кайзеровские! Про это подробно написано!

– Где написано?

Опять-таки Семен Семенович опешил: в самом деле, где написано о том, что земля круглая? Факт известный, а источники где? Враз и не сообразишь. В учебнике географии, наверное, рассказано – для школьников младших классов.

– В учебнике истории, полагаю, про эту аферу подробно написано. Или непременно будет написано! Когда наконец раскроют все тайны большевистского переворота.

– А вы сами где эти сведения прочли?

И правда, где? Где-то про заговор большевиков было убедительно изложено. Семен Семенович стал вспоминать. Статья была опубликована в газете «Аргументы и факты», кажется, году в девяносто третьем. И название статьи он вспомнил, называлась она «Немецкое золото пролетарской революции». Ах, нет, нет! То была газета «Совершенно секретно». Газету «Аргументы и факты» выписывала теща, а вот «Совершенно секретно» выписал он сам – в газете в те годы давали сенсационные разоблачения. Газету доставляли в Нью-Йорк, где в то время жил Семен Семенович, и эмигранты радовались каждой странице – наконец-то! Заголовок, помнится, шел через всю страницу, и еще фотография лысого Ленина: хитрый прищур германского шпиона. Панчиков даже вспомнил день, когда они с женой читали статью, – он позвал Светлану, а та как раз (вот бывают совпадения!) читала подборку смешных анекдотов про Ленина, и они склонились лоб в лоб над газетой, ахнули в один голос: вот оно как, оказывается! Нет, ну вы подумайте, ларчик-то просто открывался! Впрочем, ссылаться на газету несолидно – это при Советской власти оболваненные массы ссылались на мнение «Правды».

– Про это всем давно известно.

– А откуда известно?

Помог сосед по столу, тот, что слева. Вмешался в разговор.

– Подробно описано у Солженицына в «Августе Четырнадцатого». Изложена вся интрига. Был такой авантюрист Парвус, настоящее имя Израиль Гельфанд. Этот Парвус организовал контакты Ленина с германскими спецслужбами.

– А зачем?

– Ненавидел Россию! С финансистом Парвусом Ленин держал связь в эмиграции, именно через Парвуса немцы снабжали деньгами большевиков, а самого Ленина в plombированном вагоне привезли в Петроград.

– Вот именно! – Как же Семен Семенович сразу не вспомнил про книгу Солженицына, фрагмент эпопеи «Красное колесо»? Вот где факты подробно изложены. – Вы «Август Четырнадцатого» откройте. Ликвидируйте пробелы.

- А вдруг Солженицын наврал?
- Как это – наврал?
- Вы сказали: наврал?!

Две пары глаз широко раскрылись – давно не обвиняли Александра Исаевича Солженицына во вранье, прошли, слава богу, те времена, когда преследовали в России свободное слово.

– Мог и наврать, – сказал их собеседник и пояснил: – Все-таки художественная литература. Вымысел.

– Знаете, Солженицына уже пытались уличить в клевете. Посадили в лагерь, выслали из страны, запрещали книги. Может, довольноно?

Кто мог подумать, что придется снова защищать Солженицына от обвинений? А пришлось! Словно не было бурных двадцати лет борьбы за демократию, словно не было разоблачений коммунистической катастрофы. Панчиков и его сосед испытали понятное всякому русскому интеллигенту волнение: так волновались мы, идя на баррикады свободы в девяносто первом, так нервничали мы в семидесятых, пряча под подушку томик, изданный «за бугром». Кто же не помнит это бодрящее чувство опасности: засыпаешь под утро, а под ухом греется запрещенная литература. И встречаясь в гостях с такими же, как ты, инакомыслящими, повторяешь как пароль заветные слова: «Авторханов», «ИМКА-Пресс», «Посев». Не те уже времена, но вот, как оказалось, и на званом ужине во французском посольстве можно снова оказаться на передовой идеологического фронта. Словно не стол с закусками отделял их от собеседника, но баррикада. Те, что были по одну сторону баррикады, обменялись рукопожатием.

- Семен Панчиков, предприниматель.
- Наслышан о вас. Большое дело делаете, Семен! Евгений Чичерин, адвокат.
- Узнал по фотографиям, Евгений. Вот кого вам сегодня довелось защищать!
- С радостью принимаю такого клиента!

Посмеялись, чокнулись маленькими рюмками сотерна. Вспомнили об оппоненте, взглянули на спорщика. Напротив них сидел невзрачный человек – редкие серые волосы, почти лысый череп, водянисто-серые глаза, тонкогубый рот. И пиджачок у него был серый, неудачного покроя, и галстук серенький. Одним словом, неброская внешность, как у шпионов в фильмах про войну. Познакомишься, и через минуту забудешь как выглядит, не узнаешь, если снова встретишь. Они бы никогда и не обратили на него внимание, если бы не эта дикая реплика: стоило Панчикову между прочим упомянуть о германском агенте Ульянове-Ленине, и человечек в сером пиджаке встрял с вопросом. Ах, Россия! Сама не знает своей истории! А ведь третье тысячелетие на дворе, милые, пора бы знать что к чему.

– Дело сдано в архив, – сказал адвокат, подводя итог спору. – Как угораздило о Ленине вспомнить?

- Сам не знаю! – сказал Панчиков. – Наваждение!
  - Призрак бродит по Европе, – сказал адвокат весело, – а пора бы ему на покой.
- И в самом деле, подумал Панчиков, прежнюю жизнь вспомнить трудно.

Некогда брели по унылым улицам унылые серые люди, только транспаранты были красные.

Не то теперь! Панчиков обвел глазами зал посольского особняка. Яркая комната приняла столь же ярких гостей – каждый был особенный, и одет всякий гость был своеобразно. Некогда поэт Мандельштам сетовал на то, что является человеком эпохи «Москвошвей» и на нем топорщится пиджак – ну, как на этом вот сером человечке. Нынешняя эпоха представлена совсем иной фирмой. Даже правительственные чиновники – среди гостей их было достаточно – не носят в наши дни скучные костюмы, но одеваются у лучших портных планеты. Что говорить о людях творческих, о кинозвездах, архитекторах, адвокатах! Адвокат

Чичерин, например, был облачен в зеленый приталенный пиджак, рубаху в тонкую красную полоску, на шею повязал малиновую бабочку, и малиновый же платок высовывался из нагрудного кармана пиджака. Сочетание цветов смелое, но изысканное.

Архитектор Кондаков украсил себя широкими цветными подтяжками: одна подтяжка лиловая, а другая – розовая. Вот его уж точно ни с кем не спутаешь: личность! Лидер оппозиции господин Пиганов, спортивный мужчина, был облачен в строгий костюм цвета крембрюле, но упаковал свои ноги в остроносые ботинки желтого цвета. Подумать только – желтые ботинки! Но оппозиционер мог себе такое позволить. Директор радиостанции «Эхо Москвы» отличался от прочих гостей тем, что принципиально не носил пиджака, он гулял по залу в просторной клетчатой рубахе навыпуск. Вроде бы прием у посла, галстук положен – а он вот так, запросто. И всякий, едва взглянув на него, понимал, что человек это оригинальный, с собственным стилем в жизни. Директор музея Эрмитаж, академик и педант, – вон он, в глубине зала фуагра кушает, – носил поверх пиджака длинный белый шарф, брошенный на плечи. Казалось бы, в комнате тепло, к чему шарф, ведь академик не лыжник? Так бы подумал иной невежественный человек. Но дело в том, что таким вот оригинальным штрихом (белый шарф или рубашка в крупную клетку) состоявшийся индивид отделял себя от толпы. Каждый был здесь уникальной личностью, и туалеты подчеркивали это обстоятельство.

Серость недолговечна, мы это знаем теперь, похоронив коммунизм и уравниловку.

Однако почему мы вспоминаем Ленина? Призрак бродит по Европе, как точно сказано!

– Вампир жив, – пошутил Чичерин. – Ночами ищет жертву.

– Напрасно смеетесь. – Панчиков глазами указал на своего недавнего собеседника, бледного, словно кровь из него вампир высосал. Панчиков даже вообразил себе сцену, как мертвый Ленин, восставший из склепа, кусает граждан в шею и сосет кровь. – Вампиры существуют.

Серый, похожий на вампира человек, скривился и опрокинул в себя рюмку сотерна; вероятно, ждал, что это крепкий напиток, и бледное лицо его выразило недоумение.

Он не опасен, он просто вульгарный провинциал, подумал Панчиков.

«Как вы сюда попали?» – вопрос вертелся на языке, но задать такой вопрос Панчиков считал невежливым, спросил иначе:

– Что вас привело на сегодняшнюю встречу?

– Позвали, – и серый человек махнул рукой в ту сторону, где чиновники Министерства иностранных дел поднимали тосты.

Панчиков оценил ситуацию. Вероятно, столичный чиновник захватил с собой коллегу из провинции, решил показать дикарю шик метрополии. Вернется дикарь в Тмутаракань – на год рассказов хватит: в таком месте отужинал! А вот посол напрасно разрешает приводить дикарей на приемы.

Панчиков поискал глазами посла: надо будет высказать претензию. Посол встретился глазами с Панчиковым, растерянно развел руками – мол, виноват! Панчиков покачал головой: дескать, устроили тут проходной двор!

– Надеюсь, вам здешняя еда понравится, – сказал Панчиков провинциалу и добавил: – Вижу, любите сотерн.

Серый человек подозрительно посмотрел на свою рюмку.

– Сотерн?

– Так вино называется.

– Вкусное, – и вампир протянул рюмку официанту. – Еще налейте, а?

### 3

– Сладкое вино, – поделился наблюдениями провинциал, – а я думал, сладкое только на десерт дают... Ну, вы-то, конечно, знаете все тонкости...

Панчиков и Чичерин ничего не ответили, отвернулись, но провинциалы – надоедливые люди, так просто не отстанут.

– Скажите, а вы правда адвокат? – спросил серый человек у Чичерина.

Другой бы понял, что с ним говорить не хотят, постыдился бы навязывать свое общество. Этот же субъект назойливо обращал на себя внимание.

– Вы в самом деле адвокат?

Вся Москва знает адвоката Чичерина. Труднейшие дела вел адвокат, головоломные комбинации прокручивал, способствуя разделу имущества супругов Семихатовых: он – банкир, она – владеет гостиницами. Однако не бракоразводными процессами составил адвокат свою славу, но бескомпромиссным служением демократии. Именно Чичерин отстаивал права опального олигарха, нашедшего убежище в Лондоне; доводилось ему схлестнуться с властью, выйти один на один с Левиафаном.

– Весьма известный адвокат. – Панчиков взял труд ответить, а Чичерин улыбнулся.

– Повезло, что нас рядом посадили! – обрадовался провинциал и тут же себя поправил: – Слово «посадили» звучит нелепо. Нас бы с вами в одну камеру не поместили, наверное... – и засмеялся неприятным смехом.

Ну и шутки в провинциях. Адвокат и предприниматель переглянулись: пригласить, может быть, распорядителя? А провинциал продолжил:

– Известный адвокат, надо же! Значит, спор с правовой точки зрения решите.

– Простите?

– Не следует принимать на веру обвинение, не подтвержденное фактами, правильно? Что значит «пломбированный вагон»? Вы как себе пломбы представляете?

Панчиков, несмотря на раздражение, должен был признать, что провинциал прав: термин туманный. Что, двери в вагоне опечатаны сургучной печатью были? Ну, говорится так – «пломбированный вагон», надо ли к словам придирается? Все отлично понимают, что имеется в виду. Значит, ехали большевики в специальных условиях, без досмотра. Это Панчиков сдержанно и объяснил.

– Теперь понятно?

– Но ведь поездов было три – и все с политическими эмигрантами. От Временного правительства вышла амнистия политическим беженцам. Все шпионы? Во всех вагонах сургучные печати? – Где-то нарыл он сведения про три поезда, буквоед из глубинки.

– Не всем пассажирам германское правительство платило деньги, – с улыбкой заметил адвокат.

– Вы видели копии банковских переводов? – не унимался провинциал.

– Большевики избавились от улики.

– У власти был Керенский, распоряжений заметать большевистские следы не давал. Он следы искал.

– Все просто, – сказал Панчиков, – германскому командованию выгодно посеять смуту в армии врага. Большевиков ввозят в Россию – забрасывают шпионов в тыл противнику. Снабжают деньгами.

– Значит, большевики были шпионами?

– Это очевидно.

Прилипчивый, как репей, провинциал. Губы тонкие, как у всех скрытных людей. Близко посаженные глаза – признак ограниченности и назойливости; такие спорят часами – им в провинциях заняться нечем.

– Получается, что в тридцать седьмом сажали за дело.

Есть в истории страницы, на которые взглянуть без содрогания нельзя.

– Тридцать седьмой год – позор России, – сдержанно сказал Панчиков.

– Вы сами только что сказали, что Германия заслала шпионов. Вот их в тридцать седьмом и разоблачили. Бухарин – германский шпион. И Троцкий. И Карл Радек. Он даже признался.

Панчиков давно не участвовал в дискуссиях на тему октябрьского переворота. В студенческие годы был спорщиком, но чего же вы хотите от крупного бизнесмена – появились иные дела. Обыкновенно Панчиков говорил собеседнику так: «Доведись мне с вами полемизировать году в семидесятом, я бы вас по стенке размазал своими доводами. А сейчас, простите, времени нет». Россия большевистская была невыносимым государством. Он уехал в Америку тридцать лет назад, с трудом вырвался, – а вернулся обеспеченным человеком, с опытом жизни в свободном мире. Вернулся, чтобы помочь построить заново демократическую Россию – так он всем говорил. Десятилетия тоталитаризма изменили ментальность граждан, разрушили культурный генофонд. Надо ли опять спорить о Лубянке и Ленине? Видимо, надо.

– Не знаете, как выбивали признание? – спросил Панчиков, намазал тост гусиным паштетом да и отложил в сторону. Невозможно говорить про культ личности и есть фуагра.

Хорошо бы перебраться на другой конец стола, а сюда пригласить Фрумкину, редактора журнала «Сноб». Она бы данного субъекта без соли съела – Фрумкина умеет! Фрумкина сидела далеко от спорящих, но следила за разговором, яростный взгляд ее жег провинциала. Однако на званых обедах место не выбирают, подле тарелки ставят карточку с именем гостя, рассаживают принудительно. А вот в советские времена каждый плюхался на стул там, где хотел. Панчиков улыбнулся этому парадоксу. Демократия, если вдуматься, держится на регламенте и – не будем осторожничать в терминах! – на принуждении к соблюдению правил.

– Советские суды – это не правосудие, – сказал Семен Панчиков.

– Советским судом Бухарин был осужден, советским судом реабилитирован. Которому из судов не доверяете? А маршал Тухачевский? Между прочим, документы, подтверждающие связи с разведкой рейха, имеются. Возможно, фальшивка – однако не доказано. Верите в то, что Блюхер – японский шпион? Признательные показания есть... Троцкого, между прочим, никто не реабилитировал – обвинение не снято. Верите в то, что Троцкий снабжался через посла Крестинского немецкими деньгами? Верите в то, что Зиновьев и Каменев агенты сразу двух разведок?

– Однако! – только и сказал Панчиков.

– Что вы на меня так смотрите! – смутился провинциал. – Что я такого сказал? Про шпионов? Ну да, примеров много. Атаманы Шкуро, Краснов, Улагай были связаны с германской разведкой задолго на начала Отечественной войны, это никакой не секрет. Я просто историей интересуюсь... ну и по работе...

Что за работа у него такая, подумал Панчиков, в банке аналитиком служит? Отслеживает капиталы, ушедшие за границу?

– Вас послушать – так репрессии оправданы!

– Если, например, враги народа...

Как раз тот самый момент, когда собеседнику следует вlepить пощечину. Встать, перегнуться через стол и – хлоп ладонью по щеке! Или еще лучше – вином плеснуть в физиономию. Дескать, ты, подлец, оправдываешь репрессии тридцать седьмого?! И – рrrаз! – бокал

вина в лицо! Однако Панчиков так не поступил. Все-таки праздник сегодня. Доброму другу, галеристу Ивану Базарову вручают орден Почетного легиона за развитие культурных связей России и Франции.

С Базаровым познакомились на итальянском курорте Форте-дей-Марми: Семен Семенович праздновал свое шестидесятилетие широко, арендовал на три дня ресторан – и вдруг на пляже услышал русскую речь, симпатичные супруги сетовали на то, что в любимое заведение не попасть. За чем же дело стало, позвал их на день рождения. Базаров очаровал всех – плясал до полуночи, рассказывал политические анекдоты, до того уморительно пародировал покойного президента Ельцина, что даже итальянские официанты хохотали. Иван Базаров, как оказалось, держал галерею современного искусства, выставлял российских мастеров в Париже. Служил музам легко, без пафоса, без мессианства, так раздражающего в некоторых деятелях культуры. У Базарова пропорции соблюдены: немного искусства, немного светской жизни, и все естественно соединяется в галерейном бизнесе. Давно пора отметить его заслуги – вот и отметили. Посол сказал теплую речь, причем сказал по-русски, мило путая ударения. Цветов столько, что под них отвели специальный стол. Нужен ли сегодня скандал?

Официанты, плавно двигаясь вдоль стола, разливали по бокалам желтоватое маслянистое бургундское – дело шло к рыбной перемене. Перед каждым гостем стояло четыре рюмки: маленькая рюмка с сотерном сопровождала гусиную печенку, но вот пришла пора наполнить бокал для белых вин. Что ж, значит, будем пить белое вино. И можно даже угадать, какую рыбу это белое бургундское нам сулит.

– Дорада? – осведомился Панчиков у адвоката Чичерина, который, надев очки, изучал меню.

– Как ни странно, форель!

– Форель?

– Представьте себе.

– Любопытно.

– А вдруг все они шпионы? – Не даст поесть серый человек. – Если Ленин был шпион, почему Радек – не шпион?

Кто не знает про открытые процессы сталинского времени! Собирали полные залы оболваненных пролетариев и разыгрывали спектакль. «Взбесившихся псов предлагаю расстрелять!» – вот типичная фраза генерального прокурора страны Андрея Януарьевича Вышинского, прозванного Ягуарьевичем. Германский шпион, японский шпион! Странно, что до «перуанского шпиона» не договорились на процессах.

– Радек, Бухарин, Тухачевский, Рыков, Рудзутак, – дыхания не хватило, а перечислять можно до утра, – были облыжно обвинены и убиты! – Семен отставил недопитый бокал: ну как тут вино распробовать! – Миллионы сгноили в лагерях, а вы говорите, их за дело убили!

Рука невидимого официанта подхватила бокал; недурное было вино – но обед не сложился.

– Вы меня неверно поняли.

– Отлично понял! В наше время – этакое говорить! – Семен возвысил голос.

В конце концов, пусть появится мажордом, или кто тут имеется, пусть выведет хулигана за дверь. Всему есть мера!

Надо же, как не повезло: всех гостей разместили пристойно, одному Семену Семеновичу достался в соседи психопат.

Вот журналисты сидят дружной семьей: Фрумкина, Сиповский, Гулыгина, Фалдин. И ведь дело не в том, что между людьми нет противоречий! Всякий знает, что Фрумкина недолюбливает Гулыгину, а Фалдин не ладит с Сиповским. Люди не схожи меж собой: Фалдин заботливый семьянин, везде проталкивает свою жену, а Сиповский – гомосексуалист, не скрывающий ориентацию; Фрумкина поддерживает партию «Справедливая Россия», а

Гулыгина, не прячась, сожительствует с лидером парламентской фракции правящих «единороссов». Но их разногласия не ведут к нарушению главных нравственных табу.

Вот правозащитники, сидят отдельной группой: Аладьев, Ройтман, Халфин. Злые языки поговаривают, они конкурируют в борьбе за лидерство в глазах Запада. Пусть так, но их конфликт не затрагивает базовых ценностей!

Вот современные политики: Тушинский, Гачев, Пиганов. Тушинский – человек пожилой, блистал в первые годы перестройки, его еще зовут на званые обеды; Гачев – человек новой волны, это он выдвинул тезис борьбы с коррупцией; Пиганов – классический демократ, пришел в политику из нефтяного бизнеса. Политики не любят друг друга: каждый из них мечтает возглавить Россию завтра – однако взаимно вежливы и приятны в общении.

Вот литераторы, властители дум: публицист Бимбом и новеллист Придворова. Бимбом – молодой мыслитель, фамилия смешная, это был псевдоним деда, меньшевика Арсения Бимбома, высланного из России на «философском пароходе». Тамара Ефимовна Придворова – представитель московской интеллигенции, хранитель традиций. Литераторы борются за внимание миллиардера Чпока, кому то он доверит новый журнал. Но внешне – тактичны и предупредительны.

Вот актуальные художники: Шаркунов, Гусев и Бастрыкин. И у них имеются разногласия: Бастрыкин – западник, занимается беспредметным искусством, Шаркунов – патриот и националист, поет монархические гимны и рисует двуглавых орлов, Гусев же – человек мятущийся, устраивает публичные акции и много пьет. Художники разговаривают друг с другом воспитанно, хотя соперничают за право быть замеченными меценатом Балабосом.

Вот и магнаты: Балабос, Губкин, Чпок. История провела жесткую селекцию среди богачей – кто знает, какие планы касательно друг друга вынашивают эти господа со складчатыми затылками. Но внешне предупредительны и приветливы.

Цивилизованно ведут себя люди, вот искомое слово: цивилизованно! А у Семена сосед... Что же это такое, господа?

– Понимаете ли вы, что есть слова, которые цивилизованный человек себе позволить не может?

Спор привлек внимание всего стола. До чего неловко! Праздничный вечер – и такая непристойность. От гостя к гостю прошелестело вдоль стола слово «сталинист», «сталинист», «сталинист»; словно змеиный шип просверлил пространство.

Фрумкина смотрела на них пристально – Семен понял, что журналист уже обдумывает фельетон. Фрумкина обладала последовательными убеждениями (одета сегодня casual: джинсы от Версаче, свитер Дольче Габбана), и даже застольную болтовню она не оставит без внимания. Вот и Варвара Гулыгина (брючный костюм от Ямамото, легкий серебристый шарф), остроумнейший обозреватель культурной жизни, поглядела в их сторону. Ничего себе ситуация: прием в особняке французского посла – и такое, как бы это выразиться, faux pas! Вот и виновник торжества, кавалер ордена Почетного легиона Иван Базаров (темно-синий костюм от Армани, сорочка от Армани же, галстук в тон от Живанши), повернулся к ним, поднял бровь. По выражению лица Базарова было понятно, что и он недоумевает, откуда этот тип взялся. Люди сдержанные, светские, они владели собой, но нашелся человек, который не стерпел. Госпожа Губкина (юбка от Донны Карен, короткий набивной жакет Прада, нитка жемчуга), супруга финансиста Губкина (строгий асфальтового оттенка костюм от Бриони, галстук в тон), встала и приблизилась к спорщикам. Все знали Губкину как даму искреннюю, не умеющую скрывать свои чувства. Московская публика любила Губкину за спонтанность – в наш век замороженных реакций мы радуемся, если кто-то сохранил непосредственность. Она подошла и громко сказала:

– В ГБ служите!

Громко и резко она это сказала, даже посол Франции (сорочка бежевых тонов, широкий галстук в диагональную бежевую полоску, все от Лагерфельда) опешил. Он тронул господина Губкина за рукав: мол, намекайте супруге, обострять ситуацию не стоит. Но финансист Губкин только руками развел: вы же понимаете, господин посол, у нас не мусульманская страна – над супругой не властен! Госпожа Губкина привыкла говорить что думает, не выбирая выражений. Случалось, в щекотливых ситуациях с прислугой (неверный счет из магазина, пропажа столового прибора) сам Губкин сдерживал эмоции – профессия финансиста обязывает владеть собой, – но его жена всегда говорила открыто. И сейчас Лариса Губкина явила бескомпромиссность:

– Вы в приличном доме! Встаньте немедленно и выйдите вон!

Посол подавал Губкиной знаки: мол, не связывайтесь, дорогая моя, садитесь, прошу вас! Семен Панчиков также сделал примирительный жест: это застольная беседа, будем терпимы! И адвокат улыбнулся: дескать, понимаю и разделяю, но пусть собака лает – караван-то идет!

– Скажите, – Губкина обращалась ко всем сразу, – до каких пор будем терпеть и молчать? Все наши беды от того, что мы не покаялись в прошлом!

– Поддерживаю, – сказал Панчиков.

Губкина нахмурила лоб и стала похожа на милую упрямую отличницу, которая старается внушить двоичникам, что списывать нехорошо:

– До сих пор сталинисты разгуливают по улицам! Их в гости зовут!

– Позор! – согласился Панчиков.

– Я не сталинист, – сказал серый человечек, но Губкина не поверила:

– Молчите! В ГБ служите!

– Не служу!

– У вас на лбу написано: ГБ!

Мадам Бенуа (газовый шарф от Ямамото на голых плечах; дерзко, учитывая возраст), немолодая, но яркая дама, вооружилась очками, что делала в исключительных случаях. Мадам Бенуа считала, что очки ее портят, но брала с собой, для непредвиденных okazji. Поднесла очки к глазам – пользовалась ими как лорнетом. Пригляделась: на лбу у серого человечка «ГБ» написано не было. Ирен Бенуа была знакома со многими сотрудниками госбезопасности, время от времени выполняла незначительные поручения этого ведомства – ничего особенного: налаживала контакты, организовывала встречи. Ирен Бенуа относилась к так называемым органам без пафосной ненависти – давно ясно, что ГБ просто одна из корпораций, не надо демонизировать обычных людей. Но данного господина Ирен Бенуа прежде не видела. Вид простецкий – неподходящий вид для чекиста. Сотрудники органов госбезопасности, подобно гусарам девятнадцатого века, являлись элитным родом войск, одевались с шиком. Многие офицеры давно разбогатели и соперничали глянцем с элитой предпринимателей. Нет, это не тот случай. Закончив осмотр, мадам Бенуа спрятала очки в сумочку, наклонилась к уху посла, зашептала. Господин посол выслушал, сказал несколько слов в ответ.

– Вот как, – сказала мадам Бенуа сухо.

– Что я мог сделать?

Мадам Бенуа поджала губы – видимо, посол сообщил ей неприятную вещь.

А Губкина постояла возле опозоренного пустобреха, обратилась к нему спиной. Гости обзрели новоявленного сталиниста с недоумением, вновь принялись за еду. Серый же, оправдываясь, шарил глазами по сторонам.

– Просто разобраться хочу. Конечно, все арестованные в тридцать седьмом не могли быть шпионами. Но некоторые были. Возник союз Японии и Германии, Италия к нему при-

мкнула. Они заявляют о своей вражде к Советской России – вот и шлюют шпионов. Следите за моей мыслью?

– И Сталину приходится шпионов разоблачать... да? – Глаза Панчикова, Чичерина, и многих гостей следили за реакцией серого человечка.

– А как же...

– И вредители были? – осторожно спросил Панчиков. Так осторожно спрашивает психиатр у страдающего манией преследования сумасшедшего, не следят ли за ним.

– Разумеется были.

Скользили официанты вдоль столов, бесшумные и быстрые, как санитары в сумасшедшем доме, и проворные руки ставили перед гостями рыбную перемену. Начали, разумеется, с дам – Ирен Бенуа свою порцию уже доедает; но вот поставили блюдо и адвокату Чичерину, подали форель и Панчикову.

– Он шизофреник, – тихо сказал Панчиков Чичерину. – Клинический сумасшедший.

– Или сотрудник органов, – так же тихо ответил Чичерин. – Возможно, провокатор.

– Здесь? В посольстве?

– Вполне может быть. Но давайте пробовать форель.

– Знаете, что меня поражает? – Панчиков машинально ковырнул вилоккой форель, но к еде интерес потерял. – История все расставила по своим местам. Спорить не о чем. И вот находится сумасшедший, и все начинается сначала.

Вот в прошлом веке, чуть что, спорщики принимались обсуждать историю Отечества. Потом с коммунизмом покончили, разобрали тюрьму народов по кирпичику – и предмет разговора сам собой исчез. Сперва приватизировали нефть и газ, потом прессу и политику, потом искусство – и в конце концов приватизировали саму историю. Понятно ведь, что в частных руках продукт сохранится надежнее.

Граждане если и вступали в беседы исторического содержания, то лишь для того, чтобы прощупать почву для последующего делового разговора, понять, кто перед ними – сторонник ли глобализации, адепт ли финансового капитализма, короче говоря, можно ли с данным человеком подмахнуть контракт. Если субъект вменяемый – то и к конкретным вопросам можно перейти. Давно были выработаны отправные точки, по которым легко установить адекватность собеседника. Сталин – палач, Ленин – шпион, большевики – бандиты, социализм – тупик и так далее. Вдаваться в детали не требовалось, так, легкими штрихами подтвердить лояльность – и к делу. Почему сегодня алюминий? Вкладываться ли в акции «Газпрома»?

Вот и сегодня: люди говорили о важном и насущном, отнюдь не об абстракциях. Был Ленин германским шпионом или нет? Экая важность, есть о чем рассуждать! Тележурналист Фалдин обрабатывал банкира Балабоса: затевался новый проект, ох, как пригодится к предстоящим выборам. Рядом с ними директор Музея современного искусства Гиндин прощупывал министра культуры Шиздяпина: требовалось изыскать в бюджете тридцать миллионов на строительство филиала музея. Жалеете на искусство тридцать «лямов», господин министр? Но в Вологде увидят Энди Ворхола! Напротив них розовощекий публицист Бимбом излагал концепцию нового журнала миллиардеру Чпоку: требуется сушая безделица, и в Москве появится издание, открывающее новые горизонты. Владелец рудников одобрителем наблюдал, как Бимбом строит речь, избегая точных цифр, – юноша старается, вьет петли. Архитектор Кондаков беседовал с заказчиком Губкиным, они обсуждали строительство особняка в античном стиле. Мрамор доставили, но не тот мрамор, как выясняется. А ведь подробно все оговаривали! Воздух светился улыбками от лучших дантистов, вибрировал от острот, сочиненных лучшими балагурами. Реальная жизнь идет, какая, к черту, идеология! И даже госпожа Губкина отвлеклась от сталиниста. Посол втянул ее в беседу об образовании детей – куда послать? В Оксфорд? В «Эколь Нормаль»? В Йель? Присоединилась

Ирен Бенуа: только в Гарвард! У самой Ирен двое детей от первого брака (не будем об этом мужчине, но дети – ангелы!), ей в свое время пришлось самой принимать решение о месте для крошек. Так беседа обрела смысл. Это вам не Брестский мир поминать – это наша собственная история, а частная жизнь важнее, чем история партии.

Однажды про это блистательно написала Фрумкина. Она призвала разрушить так называемую «общественную» историю, анонимное сознание. Прежде, когда колонны демонстрантов маршировали, историю творила толпа. В демократическом мире, исповедующем принцип свободы, следовало внедрить принцип личной ответственности. Не марксистские смены формаций и не борьба классов – короче, не то, чему учил Ленин: мол, история это «сознание, воля, страсть, фантазия десятков тысяч», – нет! отныне история становится частным предприятием.

Согласно принятой модели приватизации, российскую историю подвергли необходимому лечению: первым делом, как и положено, обанкротили убыточное предприятие (историю Отечества), объявили его несостоятельным, затем продали по частям заинтересованным специалистам, и, надо сказать, акции разобрали мгновенно. Нашлись желающие застолбить петровский период, сыскались акционеры на екатерининское время, и даже советское время (неудачное, порченное) тоже прибрали к рукам. Появились новые яростные разыскания и облачения: собственники осмотрели продукт придиричиво.

Никто заранее не знал, что представляет собой приватизированная история, – характер продукта прояснился по мере его использования. Если общественная история – это эпос, то приватизированная история – это детектив; и коль скоро история стала развиваться по законам детектива, и поиск виновных проходил по детективному сценарию. То, что иногда называют «теорией заговора», есть не что иное, как детективная история. Собственник вертел так и сяк доставшийся ему отрезок исторического времени и придиричиво высматривал: где подвох? Алексей Михайлович оплошал? Николай Первый проморгал? Большевицкая мораль виновата? Татарское иго? Распространенной стала версия профессора колумбийского университета Александра Яновича Халфина: «Россия есть «испорченная Европа»». И в каждом из приватизированных фрагментов истории собственники искали вредителя. Отыскали спрятанные директивы Сталина, неизвестные письма Ленина, увидели просчеты слабовольного Николая – и все сразу стало ясно. Ведь могли же, могли! Ан нет, сорвалось! В эпической истории Ленин выходил героем, а в детективной – выяснилось, что он шпион.

– Был всего один вредитель и шпион, – сказал Панчиков, который тоже приобрел пакет исторических акций и рассуждал как собственник, – а именно Ленин. Заслали его для разрушения России.

– Где же выгода немецкая? Ошиблись немцы! Германская империя тоже рухнула! Хорош расчет! Понимаете, ленинский план мира никто из большевиков не одобрил. Даже близкие друзья считали план безумным. И в «Правде» мир критиковали. Если бы шпионский заговор был – так я бы логику заговора видел. А не было никакого немецкого плана. И денег немецких не было.

– Может быть, и Парвуса в природе не было? – спросил адвокат Чичерин. – И позорного Брестского мира не было? И территориальных потерь тоже не было? Вам моя фамилия ничего не говорит? Нет? Я ведь прихожусь родней наркому Чичерину, подписавшему позорный акт... Наша семейная драма, так сказать. Всю жизнь раскаиваемся... История моей семьи...

– Мало ли, что история семьи, а могли не знать деталей, – упорствовал серый. – Существуют вброшенные улики – ну, знаете, как бывает... Парвус – подставное лицо. Видел его Ленин пару раз в Мюнхене, в Цюрихе даже и не встречались, но в дело подшиваем... Сами знаете, как такие версии сочиняют...

– Ленина считаю германским шпионом не только я, и не только мои родственники, – заметил адвокат Чичерин с печальной улыбкой, – и не только Солженицын приводит факты. Сошлюсь на мнение историка Сергея Мельгунова, автора знаменитой книги «Красный террор».

– Вам мало? Сам Чичерин вам показания дает! Историк имеется! – Семен Панчиков обрадовался, что оппонента загнали в угол. – С историей будете спорить?

Серый человек прищурился (совсем как Ленин, подумал Семен Панчиков), посмотрел хитро – не разыгрывают ли его:

– Если свидетель серьезный, познакомимся обязательно. Все показания знать надо... Если показания правдивые... – выудил из кармана блокнот. – Мельгунов, значит... вот, записал. Поинтересуюсь... Я историю люблю, фактик за фактик цепляется. Сперва Людендорф, а потом план Барбаросса... Деталька к детальке...

– Перестаньте кривляться! – Семен Семенович плохо владел собой.

– Проверять информацию надо... Вот, например, такой случай: у бабки потоп в квартире – с жильцов верхнего этажа компенсацию изъяли... Все по закону. Только потопика никакого не было, бабка сама все водой залила... а прокурору только дай волю! Выставила соседей на пять тысяч.

Гости слушали эту ахиною обреченно – куда деться? Серый продолжал:

– Еще пример: судили домушника, квартиры потрошил на первых этажах. Внизу кто живет? Пролетарии небогатые, с них что взять? Телевизор и подштанники. А к делу подшили пентхауз в Серебряном бору – там картины, антиквариат, драгоценности. И загремел мужик на двенадцать лет... Я думаю так: Ленина выставить германским шпионом – выгодно политикам Антанты. Существовал план по дискредитации Владимира Ильича.

Лучше испортить воздух в приличном обществе, чем ляпнуть этакое. Не принято Ленина называть Владимиром Ильичом, так воспитанные люди не говорят. Это пионеры в годы Советской власти говорили: Ильич – наш дедушка. По отношению к бездетному Ульянову метафора звучала уморительно. Еще чего не хватало: Ильич!

– Значит, оправдаем Ильича?

– Нюрнбергский процесс нужен! – крикнула Губкина. Она как раз закончила диалог с послом – сошлись на «Эколь Нормаль». – Нюрнбергский процесс над большевиками!

– Например, Германия, – заметил адвокат, – покаялась в фашизме. Провели денацификацию.

– Напрасно не судили большевиков! Надо было Нюрнбергский процесс над членами компартии устроить, – сказал Панчиков.

Обеденный зал французского посольства вскипел в репликах.

Журналист Роман Фалдин крикнул со своего места:

– Старых фашистов судили! Мой дед про это полжизни статьи писал. Теперь старых коммунистов разоблачим!

– Мою бабушку, – заметила мадам Бенуа, – фронтовую корреспондентку, большевики расстреляли без суда.

– Господи! – Губкина поднесла руки ко рту, как бы сдерживая крик. – Как это произошло?

– История семьи, – краем сухих губ улыбнулась мадам Бенуа. – Решила рассказать...

– Цвет нации выкосили! – сказал правозащитник Ройтман.

– Когда уничтожали ветеранов Белого движения, не смотрели на возраст! – заметил художник Шаркунов.

– Пусть ответят! – согласилась Гулыгина. Варвара Гулыгина была сложным, как говорили ее подруги, человеком; многие жены, вероятно, могли бы призвать к ответу ее саму. Впрочем, Варвара рушила только то, что было само по себе непрочно.

– Не все виноваты... Некоторые заблуждались... – сказал Сиповский, и кое-кто в зале подумал, что гомосексуалисты – люди бесконфликтные, ищущие компромиссов.

– Ах, то же самое говорили про нацистов! Они не виноваты, они не знали! – Госпожа Губкина волновалась, волнение красило ее. – Нужен открытый судебный процесс над большевиками! Для начала провести публичный суд над Ульяновым-Лениным!

– Но у Ленина сыскался защитник! – Семен Панчиков невольно рассмеялся, представив суд на лысым палачом и выступление серого человечка в суде.

– Развалит дело! Он развалит дело Ульянова-Ленина! – хлопнул себя по коленке адвокат Чичерин, ему тоже стало весело. – А кто вам за это платит, интересно?

Кому-кому, а уж адвокату Чичерину было известно, как разваливают дела. Клиенты у Чичерина попадались разные – только здесь, в обеденном зале французского посольства Чичерин насчитал четверых, с каждым обменялся значительным взглядом. Вот тому господину в шелковом пиджаке грозила конфискация имущества за растраченный Пенсионный фонд; вот тот седовласый человек едва не лишился сына, обвиненного в причастности к преступной группировке. Ах, бывает всякое! Скажите, как в наше время заработать на достойную жизнь и не преступить закон? Судейские крючкотворы выискивали сомнительные детали в биографии известных людей, заводили следствие – будем называть вещи своими именами: так делали в надежде на отступные. И адвокатам приходилось бороться не только с судьей, но со свидетелями, с журналистами, со следователями: каждый хотел получить свою долю от чужого несчастья. Чичерину было что вспомнить.

Тут, кстати, и мобильный телефон загудел в кармане; адвокат неприметным движением выудил из кармана перламутровый аппарат, поднес к уху, выслушал сообщение. Не сказал ничего в ответ, улыбнулся. Новости пришли именно те, каких ждал, – свидетель отказался от показаний, дело о подпольных казино закрыто за отсутствием обвинения. Развалилось дело – но знали бы вы, милостивые государи, чего это стоило! Адова работа, если хотите знать.

Иной человек мог обвинить Евгения Чичерина в цинизме – адвокат знал, что за его спиной шушукуются. Однако циничен он не был, скорее наоборот – совестлив. Чичерин говорил своим друзьям, что всякое дело скрупулезно взвешивает на весах совести: имеет ли он моральное право бороться с приговором? Да, подчас защищаешь преступника; да, твой клиент, возможно, и украл нечто – но скажите: а тот, кто его обвиняет, то есть само государство – разве образчик честности? Кто больше ворует, предприниматель, который увел прибыль на Каймановы острова, или государство, которое бюджет тратит на прихоти кремлевских чиновников? Я, говорил Чичерин, подсчитываю убытки, причиненные обществу, и выбираю ту сторону, которая приносит меньше вреда. И если преступление, вмененное бизнесмену, менее опасно, чем зло, творимое государством, процесс следует развалить.

Адвокат спрятал телефончик, вооружился ножом и вилок, принялся разделять рыбу, поставленную перед ним официантом. Умело отделил голову, взрезал рыбе тельце вдоль, откинул верхнюю половину рыбы, вытащил из форели хребет. Рыбий скелет вынул единым движением, и форель утратила форму. Адвокат ловко отслоил шкурку, выбрал лакомые кусочки, а прочее смел в дальнюю часть тарелки – развалил рыбу, не стало рыбы, только кусочки нежнейшего филе остались. Вот оно как делается, господа! А про что у нас тут речь? Про Ульянова-Ленина?

– Я никого не защищаю, – сказал серый человек, – я сведения собираю... Много вражья кругом. Про красных, про белых... – Сумасшедший даже присвистнул и прикрыл глаза, чтобы передать масштабы дезинформации. – Про демократов...

– А вы правду ищите? Дела судебные изучаете...

– Пристрастие имею к фактам.

– Данные о соседях собираете? – деликатно спросил адвокат, а сам подумал: «Некоторые психи пишут клеветы: то в ДЭЗ про водопровод, то в Верховный Совет про пенсию».

Адвокат доел форель, допил бургундское. Знал бы, что такой сосед попадетя, пошел бы на выставку инсталляций группы «Среднерусская возвышенность» – на вернисаже случайных людей не встретишь! Как всякий адвокат, Чичерин ценил свое время: с клиента за столь долгую беседу он мог запросить десять тысяч, а здесь все досталось умалишенному.

Тут, слава богу, подали десерт: шоколадный мусс с шариками ванильного мороженого, и внимание спорщиков переключилось с архивов злокозненных большевиков на поединок мороженого с шоколадом. Было на что посмотреть! Искусство хорошего повара не уступает искусству мастера инсталляций – хоть фотографируй блюдо и вешай фотографию в музей! Холодный белый шарик, окруженный раскаленной коричневой массой, дрожал и таял. Твердый шарик мороженого терял очертания, растекался в лужицу, подобно войскам генерала Корнилова, окруженным в легендарном Ледяном походе красными полчищами. Подобно Белому движению, ванильный шарик держался до последнего, но стихия варварства одолевала героев! Адвокат Чичерин помогал шарикю как мог: маленькой десертной ложечкой от отгонял шоколадную лаву от замороженного шарика, а тонкой вафелькой воздвиг своего рода плотину, дабы шоколадное нашествие разбивало о вафельку свои валы. Шоколадный мусс замедлил свой бег, и шарик мог передохнуть. Шансы у мороженого были – адвокат принялся стремительно подъедать мусс с краев, чтобы хоть как-то уравновесить силы. Шоколадное озеро мельчало, и шансы мороженого росли – еще немного продержаться, и победа за нами! Так и бывшие союзники царской России (то бишь Антанта) посильно помогали Белому движению – высаживали войска в Архангельске, посылали корабли к Одессе, пытались удержать войска дикарей. Так победим! Адвокат аккуратно орудовал ложечкой в шоколадном муссе, и враги редели. Однако стихия неумолима. Вафельная плотина пропиталась горячим шоколадом и осела в блюдечке; в пробоину хлынул расплавленный шоколад, неумолимый и дикий, как Первая конная. Белый шарик стал подтекать, его перекосило, и вот он вдруг завалился на бок, рухнул в шоколадную лужу. Адвокат ужаснулся, он так растерялся, что даже перестал есть, обреченно уронил ложечку. Так и войска союзников внезапно прекратили оказывать помощь белым генералам – отозвали экспедиционные корпуса, оставили Колчака, предали Деникина. А шоколадный мусс воспользовался замешательством адвоката – ринулся на шарик и с другого бока, коричневые волны накрыли мороженое, затопили его вовсе. То, что некогда было хрустально твердым и снежно-белым, – превратилось в коричневатую жижу, а вскоре и вовсе сплавилось в единую массу с шоколадным варевом. Так и белые герои – те, что не успели на пароходы в Севастополе, – растворились в среде дикарей, а постепенно и смешались с толпой, образовали вместе с ней единую субстанцию – советский народ. Sic transit! Адвокат Чичерин утратил интерес к десерту: попробовал на вкус, что же получилось из этой каши, – нет, не то! Ковырнул вафельку-предательницу, но раскисшая вафелька была недостойна его внимания – так вот и интеллигенция, не сумев встать между восставшей стихией и культурным ядром, превратилась в жалкую слякоть. Адвокат оттолкнул от себя блюдечко – ах, если бы столь же легко можно было оттолкнуть от себя Россию с ее гнилой историей!

От пережитого отвлек адвоката голос соседа – упрямый провинциал бубнил что-то, адвокат даже не сразу понял, что именно, его мысли были еще там, в боях под Вафелькой, на ванильных редуках. Провинциал не отстал, повторил еще раз. И Чичерин наконец расслышал.

– Когда преступника ловят, у свидетелей все выпрашивают – любая деталь важна. Пепел, допустим, от сигареты... или отпечатки пальцев... А в истории знать подробности не хотим. Хорошему следователю надо в архивах посидеть, выявить, кто кого финансировал. У дедушки Ленина – разве барыши? Не сравнить с теми деньгами, что были истрачены дедушкой Джорджа Буша на поддержку Гитлера и партии национал-социалистов. Вот где реальные деньги.

Тут и шоколадная баталия отошла на второй план. Черт с ним, с ванильным шариком, сам виноват, нечего было связываться с шоколадным муссом! И Белое движение само виновато – влипло в историю в этой проклятой стране! И вообще, интеллигенции надо было разумно выбирать народ...

– Бред! – только и сказал Чичерин.

– Вранья много... Многие воевали на немецкие деньги. У меня все зафиксировано... Гетман Скоропадский, например... Или Краснов... Или, допустим, Горбачева взять – вот кто немецкие деньги получил, взял мзду.

– Давно ждал! – воскликнул Чичерин. – Ждал, что подберетесь к перестройке!

– Я информацию фиксирую, привычка такая... – Жаргон серого человека напомнил милицейский. – Надо составить список подозреваемых и внимательно изучить мотивы. В девятнадцатом году в России было столько германских офицеров... У меня имена выписаны... Если ниточку потянуть...

– Расследование затеяли, – сказал адвокат. – Зачем стараетесь?

– Не люблю, когда что-то прячут, сразу стараюсь найти.

– И находите?

– Бывает.

«Возможно, связан с налоговой службой, – подумал Чичерин, – хотя костюмчик подкачал. И часы дешевые». Вслух же адвокат сказал так:

– Ловко перевели расследование на другого подозреваемого. Ленин, оказалось, ни при чем, Джордж Буш виноват. Однако революцию все-таки Ленин сделал. По-вашему, Солженицын в архивы не заглядывал?

– Наврал Солженицын. Смастырил куклу. – Собеседник Чичерина и Панчикова вернул блатной оборот так натурально, словно воровская среда была ему привычна. Странно прозвучали в посольском особняке вульгарные слова.

– Не выгорело у фраера, – в тон ему заметил адвокат Чичерин. – Послали зону топтать. – Адвокат тоже перешел на блатной говорок, ему приходилось беседовать с колоритными персонажами в тюрьмах, поневоле выучился. – Дали четыре года и семь – по рогам.

– А фраер откинулся, огреб бабла и схарчил советскую идеологию, – и гость французского посольства рассмеялся неприятным смехом.

Блатные слова серый человек выговаривал привычно. Его простота, которую они сперва приняли за провинциальность, была не простотой вовсе – грубостью. Отрывочные знания потому шокировали, что их преподносил субъект агрессивный и злой. Точно дворняга лает из подворотни – вульгарный человек оправдывает Ленина и тридцать седьмой год, выражается нецензурно, ведет себя нагло. Всему есть мера. И неожиданно сложился портрет собеседника: если сопоставить милицейский жаргон, воровские словечки, общую вездливость – то что получим в итоге?

– Вы, уважаемый, до сих пор не представились. Даже карточки с вашей фамилией на столе нет. Я, например, Семен Панчиков, предприниматель.

– Представьтесь! – потребовал адвокат Чичерин. – У меня ощущение, что разговариваю с представителем следственных органов.

– Простите, забыл! Неловко получилось. – Собеседник привстал, лысая голова заискрилась в сиянии ламп посольского особняка. – Петр Яковлевич Щербатов, – сказал он, растягивая тонкие губы в улыбке, и руку протянул для рукопожатия. – Я действительно следователь.

– Как следователь? – сказал Панчиков, отшатнувшись от протянутой руки. – Следователь? – Если бы в ложе Большого театра Панчиков встретил сантехника, удивился бы меньше. Следователь сидит за общим столом, кушает рядом с приличными людьми! – Вы следователь?

– Следователь.

– Экономические преступления? – спросил адвокат Чичерин, делая вид, будто руки Щербатова не замечает.

– По уголовным делам.

– Чин имеется?

– Майор.

– Вы здесь по службе?

– По службе.

И – пауза, говорить не о чем. Еще и руку ему пожать? Ну, знаете ли.

Слово, сказанное вполголоса, прогремело в зале как выстрел. Лица гостей повернулись к следователю. Посол Франции привстал, хотел отдать какие-то распоряжения, но так и не отдал. Махнул вяло рукой, повернул усталое лицо к мадам Бенуа:

– А что я мог сделать, Ирен? Да, порекомендовали принять.

– Неужели нельзя было...

– Я и представить не мог!

Банкир Балабос, мужчина малоподвижный, щелкнул пальцами. Официант, неверно истолковав жест банкира, подбежал – но Балабос отослал халдея прочь, пальцами он щелкнул от удивления. Художник-патриот Шаркунов мелко перекрестил пространство, изгоняя беса, – но серый человечек не исчез. Госпожа Губкина скомкала салфетку, бросила на пол – искренняя женщина так выразила свои чувства. Профессор Колумбийского университета советолог Халфин, человек с мелкими дробными чертами лица, встал, чтобы лучше видеть, вытянул шею, всмотрелся в следователя. Лицо Халфина еще более сморщилось от брезгливости: не затем люди ходят к французским послам, чтобы встретить следователя. Варвара Гулыгина рассмеялась: вот так поужинаешь с человеком, а он тебе за десертом предьявит удостоверение. Цепкий вороний глаз Симы Фрумкиной обшарил следователя, выискивая в облике подробности, которые пригодятся для завтрашнего фельетона. Многие приглядывались к Петру Яковлевичу Щербатову – часто ли встречаем таких персонажей?

Вот адвокат Чичерин, тот повидал следователей немало. Насмотрелся на эти лица, знает водянистые глаза и тонкие губы, персонаж типический! Будет этакий субъект смотреть пустыми глазами и бубнить: сознавайтесь, гражданин, сознавайтесь! И не выдержишь, сознаешься даже в том, чего не совершал! Как он сразу не раскусил шельму? Вот откуда симпатии к процессам тридцать седьмого! Небось и отец у него энкавэдэшник, и дед был чекист. Вот откуда доступ к архивам. Обыкновенный следователь, следачок Петька Щербатов. И пиджак на нем сидит как на следователе, и брюки у него поглажены как у следователя. И рубашка как у мента, и галстук безвкусный, они все носят отвратительные галстуки. Как же не догадался! Хотя предположить, что следователь попадет на прием к послу, – невозможно. Кто пустил? Что его сюда привело? За кем следит? Уж не за Иваном ли Базаровым вынюхивает? Дела у Базарова шли весьма хорошо – а теперешние власти именно к удачливым людям и приглядываются. Раз у человека бизнес идет неплохо, значит, самое время завести на него уголовное дельце, потребовать отступных. Налоги аккуратно платили? А в прошлом году? Хорошо идут дела – значит, есть чем откупиться от правосудия.

Чичерин был адвокатом Базарова – и за такими вещами следил строго.

– Так вы пришли по делу?

– По делу.

## 4

Дела у Ивана Базарова шли недурно – в то время когда дела во всем мире обстояли не особенно хорошо. Проекты Базарова тем выгодно отличались от больших планов просвещенного мира, что просвещенный мир не знал, как быть, а Иван Базаров отлично знал.

У мира имелся всего-навсего общий план развития (правители употребляли туманное слово «глобализация»), но глобальное обобщение не выдерживало проверки единой деталью.

Казалось бы, придумали неплохо: цивилизованные страны показывают пример остальному человечеству, пример вдохновляет отсталых, и мир живет в согласии, управляемый рыночной экономикой. Разумно?

Был момент, когда люди настолько возбудились мечтой о демократическом рае на земле, что даже горлопанство большевиков на съездах не могло сравниться с энтузиазмом глобалистов. Армии лекторов, славящих мировую демократию, собрали под знамена куда больше народу, чем отряды агитаторов прошлых режимов. Прочие методы управления признали отсталыми. Вот уже рассыпался злокозненный Советский Союз, вот уже Китай встал на путь рыночного хозяйства, вот отдельные тираны по окраинам мироздания посрамлены – однако общее дело не склеилось.

Перспективы были ясные, Вавилонская башня возводилась стремительно, но стоило какой-нибудь Ливии прийти в волнение, как общая конструкция шаталась и будущее делалось сомнительным. Помеха, согласитесь, несуразная. Ну что такое страна в Северной Африке по сравнению с просвещенным человечеством? Кто и когда полагал, что беспорядок в Триполи или Дамаске поколеблет величественное здание мировой империи? Как война на окраинах может влиять на процветание метрополии? Возможно, в Древнем Риме такое и могло приключиться, но современный мир должен быть гарантирован от недоразумений.

Однако, как в детской песенке про гвоздь и подкову, решившие исход сражения, крепость империи зависела от мелочей. Тут невольно спросишь, куда годится общий план строительства, если кучка недовольных на площади в Триполи (а это вам не Нью-Йорк, не Лондон!) может расшатать все здание. А как же акции и голубые фишки? А европейская валюта? Нет, мы не за то голосовали.

Вопросы задавали повсюду. Дантист в Берлине, нотариус в Париже, финансист в Лондоне и ресторатор в Брюсселе разводили руками: отчего случился кризис? Почему экономика провалилась? Почему акции подешевели? Может, напрасно Вавилонскую башню возвели?

И прошелестело по западному миру: много лишних ртов кормим. Самим бы хватило, но вы посчитайте дармоедов! Обидно сделалось: десятилетиями возделывали никчемные места, и теперь будущее детей, проценты от банковских вкладов, равновесие биржевых индексов – все это зависит от тех самых оборванцев, которым мы оказывали безвозмездную гуманитарную помощь! Сами бы договорились, у нас отношения цивилизованные, а с дикарями как быть? Если бесплатно кормить, никаких денег не хватит; к труду их приспособить не получается; включить в общий рынок нельзя: все порушат своей дикостью. А оставить одних страшно – в дикарских землях заведутся коммунисты.

Пошли разговоры: закрыть границы, гнать черномазых (ах, и слова такого говорить более нельзя – при общем-то согласии) и жить припеваючи. Так говорили недалёковидные националисты. Люди гуманистической ориентации настаивали на том, чтобы навести порядок в несуразных провинциях, бомбить дикарей в мирных целях. Лучше вовремя убить немногих, наставив прочих на путь истинный. Лекарство привычное, не раз опробованное – применили лекарство и сейчас, но кто знал, что именно сегодня бомбардировки дадут

такой эффект. Обалдевшие от нищеты, оглушенные бомбардировками, кидались африканцы на берег моря и плыли в благословенную Европу, карабкались на берег свободы. Не резиновая Европа, граждане африканцы! Вас пригласили на строительство Вавилонской башни демократии – но с тем, чтобы вы знали свое место! У себя в стране выполняйте обязанности по обслуживанию алмазных шахт и рудных карьеров, вносите вклад в мировое созидание – но в Европу вас никто не звал. Не слышат африканцы. Гонишь их из одной страны, а они, как тараканы шустрые, спешат в другую, и другая страна паникует, границы закрывает. Так ведь объединенная Европа же! Глобальное человечество! Нельзя границы закрывать! И что же теперь: раз демократия, так европеец должен оплачивать паразитическое существование своего темного брата? Цивилизация христианская, но не до такой же степени. Так дойдем до благодати святого Мартина и располовиним смокинги на набедренные повязки. Одним словом, сумятица.

А с экономикой день ото дня все хуже.

Восточную Европу завоевали, Россию покорили, Африку распотрошили, очаги сопротивления социализма подавлены – откуда пришла беда? Позвольте, двадцать лет назад уничтожили тоталитарного соперника – причем без единого выстрела, примером процветания; и что теперь? Всего двадцать лет прошло, и сам капитализм под угрозой, хотя врагов уже нет. Неужели капитализм нуждается в социализме для здоровой жизни?

– Интересно получается, – говорил архитектор Кондаков журналисту Сиповскому, – мы упрекали социализм в том, что нет двухпартийной системы.

– Какая же демократия без двух партий, – соглашался журналист. – Однопартийная система обречена.

– Тогда почему в мире построили однопартийную систему? Пока социализм и капитализм соревновались, было спокойно. А когда осталась одна партия в мире – страшно.

И кто-то сказал слово «война».

Сначала просто ляпнул: дескать, войны давно не было – покосили бы лишних дармоедов, и вопрос решен. А потом чуть серьезнее: из мировых кризисов только войной можно выбраться. Мы, господа, все друг другу должны, и население ропщет на инфляцию. Население уполовиним, долги обнулим – и можно дальше работать. Прошло немного времени, и политики стали так громко говорить: войны, мол, не будет, что граждане перепугались.

## 5

Если сравнить с неопределенным состоянием мира определенные дела Ивана Базарова, можно поразиться четкости базаровской мысли. После удачной сделки Базаров шутил: «Зачем нужна рыночная экономика, если есть базарная?» Иван Базаров не полагался в расчетах на абстракции. Что толку посулить всему миру демократию? Это равносильно обещанию накормить пятью хлебами пять тысяч человек. Не всегда удается, особенно если самому хочется кушать.

Галерея современного искусства, которой владел Базаров, являлась фасадным элементом империи, денег приносила немного. Современное искусство покупают богачи в столицах – но было бы опрометчиво не использовать многомиллионное население регионов. Получить миллион от богача заманчиво – но если сто миллионов нищих даст по рублю, сумма выйдет больше. Надо только найти, что предложить провинции. Кто-то скажет, мол, провинции нужны больницы и университеты. Неверно это, нужна рулетка. Когда Базаров решил организовать игорный бизнес в провинциальных городах России, он не рассчитывал добиться понимания прогрессивной общественности, не заботился о лозунгах. Надо было добиться понимания прокуратуры: игорный бизнес официально запрещен, но внедрить его – выполнимая задача. Иван Базаров рассчитывал получать десятки миллионов и прикинул, что сотни тысяч он может пустить на взятки. Он приезжал в город, где собирался открывать подпольное казино, знакомился с прокурорами, приглашал в дорогой ресторан, платил за икру золотой кредиткой. Прокуроры ели много, им хотелось еще. Базаров давал понять, что и у рядового прокурора может быть золотая кредитная карточка, – и прокуроры быстро это понимали. Изменить миропорядок не в нашей власти, но убедить одного человека возможно; Базаров решил, что натуральное хозяйство надежнее символического обмена. «Базарная экономика» – как он сам определял свой бизнес – оказалась квинтэссенцией рыночной: Базаров отбросил ненужное, взял главное.

Познакомиться с генеральным прокурором России ему не удалось, но он нашел пути к его сыну, молодому оболтусу, уже замешанному в сомнительных аферах. Олег Клименюк, вертлявый молодой человек, придя на встречу в дорогой ресторан, заломил такую сумму, что Иван Базаров даже поднял бровь. «Вы же понимаете, кто именно будет вас защищать», – говорил молодой человек, постукивал перстнем по бокалу и рисовал на салфетке нолики. Нарисовал шесть нолей и остановился. Миллион в месяц. Областные прокуроры брали по пятьдесят тысяч, шофер Базарова, молчаливый Мухаммед, развозил чиновникам конверты с деньгами в первый понедельник каждого месяца. А сын генерального захотел миллион. Вообще Базаров был скуп на эмоции, а тут поднял бровь, подумал и согласился. В конце концов, можно платить одну десятую от общей прибыли партнеру, если партнер представляет высшую власть в стране. Короче говоря, Базаров умел в одну минуту понять, что следует делать.

## 6

В отличие от Ивана Базарова, просвещенный мир решений принимать не умел. Когда обнаружилось, что финансовая стабильность человечества под угрозой, общее решение потребовалось – однако решения не было. Дико звучит: «финансовая стабильность человечества» – будто у человечества единый карман и общий кошелек. Таковых не имеется, но коль скоро мечта о глобализации манила, следовало вообразить себя единым целым, а проблему соседа – собственной проблемой. Лидеры человечества съехались на совет и после обильного завтрака стали выработать программу действий, да так и не выработали.

Проблема ясна: африканские страсти есть следствие финансовой пирамиды в цивилизованной части света. Дикарей поторопились включить в рынок символического обмена – символический обмен возможен при наличии пусть небольшого, но реального продукта, положенного в основание символической сделки; в Африке символов в избытке, а с реальностью проблемы. Африканским голодранцам не хватило конкретики – еды.

Пока дикарям давали огненную воду – жемчуг тек рекой и метрополия горя не знала; когда дикарей продавали за деньги в службу, тоже было просто; когда их приспособили к вредным производствам в обмен на право жить – это было логично; но когда дикарей включили в рынок символического обмена – гармония кончилась.

В эпоху символического обмена символические деньги множились – и как им не множиться на бумаге? – но параллельно символическим ценностям множилось население земного шара, причем именно та его часть, которая жила еще в эпоху натурального обмена. Парадокс существования лучшей части планеты (которая жила символами) состоял в том, что в своих ежедневных нуждах она зависела от натурального обмена отсталых народов. Постиндустриальная экономика, информационная экономика – вещь исключительно прогрессивная, но оказалось, что она зависит от экономики доиндустриальной. Цивилизация жила в кредит, а обеспечением кредита были те самые страны третьего мира, которые все еще находились на стадии натурального обмена. Цифр много, способ умножения цифр составляет алхимический секрет наших дней, но финансовая алхимия не изобрела способа изготовлять из цифр еду – жевать цифры не станешь.

Граждане цивилизованных стран привыкли к тому, что проблемы их бытия решаются просто: пошел в банк, взял кредит, купил дом, заложил дом, взял еще один кредит, купил машину, и так далее – а там и пенсия. Мир велик, сколь далеко ни убежал бы процесс кредитования, на наш век дистанции хватит – где-то далеко, в конце цепочки, дикарь роет из грязи алмазы, отдавая их за право дышать.

Так и жили, и недурно жили, и британский премьер-министр госпожа Маргарет Тэтчер воскликнула: «Британец, который к тридцати годам не обзавелся домом и машиной, не может называться полноценным членом общества!» – а потом в цепочке произошел сбой. В одночасье выяснили, что суммы кредитов превышают наличность в сотни раз, банки перестали платить вкладчикам, вклады обесценились, дома, купленные в кредит, остались невыкупленными – обеднел средний класс. Тут бы самое время кредиты отменить, засушить рукава и работать бесплатно – восстанавливать рухнувшее благополучие. Ретрограды причитали, что нужно сплотиться, национализировать банки, вернуться к экономике индустриальной, к пройденному этапу цивилизации, – но кто решится сделать шаг вспять? Промышленность уже задвинули в страны третьего мира – прогресс выстроил новую иерархию ценностей. И верилось: мы лишь переживаем незначительный сбой в информационной экономике – так бывает, что компьютеры барахлят, плохо доходят сигналы до отсталых народов, бомбили их мало.

В самом конце цепочки стояли отсталые народы, которые ждали своей маленькой натуральной порции при общей раздаче. Но этой порции уже не было.

Отсталые народы возбудились: они верили, что на самом верху Вавилонской башни не знают про их беды, а виноваты локальные царьки. Дикари винили свой постылый натуральный обмен, мечтали о преимуществах банков и деривативов, символических ценностей Запада. Вот там, на верхних этажах Вавилонской башни, казалось им, – там все просто и прекрасно: там граждане рисуют эскизы вечерних платьев, создают инсталляции из кашек, пишут цифры на бумаге – и спускают вниз корзинку, которую мы наполняем алмазами. О дивный мир верхних этажей! Наивные дикари кидались в море, плыли к священным берегам свободного мира, а представители обедневшего среднего класса цивилизованных государств отпихивали дикарей от берега. Самим туго – а что прикажете делать, если пять хлебов станут делить не на пять тысяч человек, как то однажды удалось близ города Вифсаиды, но на миллионы? Представители среднего класса пялились в газеты в ожидании судьбоносного решения общей беды, не предложат ли им нечто новенькое взамен символической демократии? А лидеры просвещенного человечества не могли договориться.

Прямо перед судьбоносным завтраком лидеров человечества германский канцлер госпожа Меркель пожелала встретиться с итальянским премьером Сильвио Берлускони. Злые языки утверждали, что место Берлускони не в премьерском кресле, а на нарах, но дело спасения человечества понуждало к диалогу – вот канцлер поспешила к премьеру с протянутой рукой. Итальянец двинулся навстречу, и тут у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Воспитанные люди не берут с собой телефон на встречи! Канцлер замедлила шаг, ожидая, что премьер выключит телефон, расшаркается и поведет себя как следует человеку приличному. Премьер Италии на звонок ответил, расплылся в улыбке, повернулся к канцлеру Германии спиной и принялся оживленно болтать, заливаясь смехом и хлопая себя по ляжке. В Средние века такая выходка могла стать поводом к войне и унести тысячи жизней. Кони рейтаров топтали бы мерзлое жнивье, а вороны выклевывали глаза мертвецов, если бы сеньор Гонзага повернулся спиной к Габсбургу. Если бы Муссолини так вел себя по отношению к Гитлеру – не дождался бы он помощи и спецназа Отто Скорцени. А нынче? Итальянский премьер глазами сообщал канцлеру, что собеседник у него изрядный юморист, прервать беседу нет возможности. С кем говорил премьер, кто оказался важнее канцлера Германии? Имелся некто конкретный, кто значил для итальянца больше символических ценностей Вавилонской башни, – ужас состоял в том, что это могла быть обыкновенная проститутка. Все существо канцлера Германии сотрясало от негодования: блудодей и сластолюбец изображает государственного мужа – неужели с таким возможно единение? Как строить империю символов, если два прораба строительства не могут договориться? И что будет, если башня рухнет?

Слово «война» висело в воздухе. Успокаивали себя: это несерьезно, кто будет воевать, и с кем? Разве что Ирак разбомбят, Афганистан проутюжат, но это мелочь, большой войны не будет.

Но понимали, что кризис глобальный и работу надо найти миллионам.

## 7

Иван Базаров непонимания между партнерами не допускал. С каждым прокурором разговаривал внимательно, поощрял слабости, слал подарки семье. Допустим, выразил желание некий прокурор Успенский посетить Монако – тут же ему и билеты выданы. Как не понять естественное желание погулять по Монте-Карло? Всякому работнику правоохранительных органов хочется заглянуть в казино, принюхаться к ароматам азарта. Компанию майору Успенскому подобрали нестыдную: включили прокурора в состав культурной делегации, и прокурор получил в спутники интеллигентнейших людей. И повод достойный: открыли выставку российского искусства «Из-под глыб 2», подняли актуальные вопросы современности.

Правозащитник Халфин, концептуалист Бастрыкин, художник-патриот Шаркунов и прокурор Успенский представляли российскую интеллигенцию перед отдыхающими, утомленными средиземноморским солнцем. Полюбуйтесь, monsieur! Это русское самовыражение, пощечина тирании! И мэр Монако выступил на открытии: организовать эту выставку мы сумели благодаря Ивану Базарову и господину – тут имя прокурора Успенского звучало весьма уместно. Граждане цивилизованного мира изучали инсталляции, прокурор шалел от важности своей миссии, а Бастрыкин и Халфин бродили по улочкам Монако, дебатировали спорные вопросы в меню. И прокурор понимал: содействуя игорному бизнесу, он служит прогрессу и миру.

## 8

Добиться такого же единства среди цивилизованных стран, какого добился Базаров меж прокуроров и культурологов, – не получалось. Всякая страна желает провозгласить себя Европой – но едва Европой стали буквально все, как идея Каролингов показалась ущербной.

«Есть европейская держава!» – воскликнула однажды императрица Екатерина, обозревая замерзшие пустоши подвластной территории. И сколь часто судьбоносные эти слова повторяли лидеры Албании, Хорватии, Молдавии, Латвии и прочих не особенно успешных стран. Эти слова ласкали слух обывателей Грузии и Турции, и отчего бы жителю Марокеша, который ежедневно обслуживает туристов из Испании и Франции, не помечтать о прекрасной жизни, как там, в демократических пенатах? Желание понятное, но всех подряд в Европу принять невозможно. Европа – это вам не безразмерные нейлоновые носки, не на всякую ногу годится. В том же «Наказе» Екатерины ясно сказано, а для непонятливых повторено: сельские жители живут в деревнях и селах, обрабатывают землю – и сие есть их жребий! По слову Аристотеля, некоторые люди рождаются рабами, а глобализация на дворе или нет, жребия своего рабы менять не вправе. Лодки, устремленные к итальянским берегам, шли на дно, большинство пассажиров тонули, и Средиземное море, которое прежде называли колыбелью цивилизации, стали называть жидким кладбищем. Требовалось придумать еще что-то, но что дикарям такое дать?

Аргументов не находилось: распахнув двери Вавилонской башни, на каком основании двери эти запереть? В былые века христианская религия ограждала Запад от прочего мира, все было проще. Однако вера перестала быть определяющим фактором, «христианская цивилизация» жила помимо христианства – поставив на место Бога Единого прогресс и просвещение; а прогресс – он ведь общий. И закрыть двери не получалось; Вавилонская башня кривилась, и конструкция скрипела.

Правители мира (в отличие от бизнесмена Базарова) думали медленно. Они растерянно спрашивали финансистов, не горит ли земля под ногами, а те отвечали: отнюдь не горит, напротив – приятно греет! Финансистов грела мысль о том, что кризисы – это такое время, когда одни теряют, а другие приобретают. Да, обанкротился средний класс, но отнюдь не класс высший. И кто сказал, что здоровье мира следует измерять по состоянию среднего класса?

Встреча правителей завершилась, лидеры просвещенного человечества покушали, переварили съеденное, подумали и решили не реагировать на кризис. Лозунг: вперед! Бонусы банкирам не отменили, а утроили; количество безработных – учетверили; число богатых увеличили впятеро, бедных – вдесятеро; напечатали три триллиона новых денег. Жить еще можно, лет на пять хватит, проживем! Но будьте внимательны: призрак коммунизма бродит по Европе.

Характерен диалог, состоявшийся на открытии выставки российского актуального искусства, организованной Базаровым в Монте-Карло. В числе прочих гостей выставку посетил финансист и политик Жак Аттали, который разговорился с русскими гостями. Банкир Жак Аттали лучше, чем кто-либо другой, иллюстрировал бесконечные возможности капитализма. Смуглый уроженец Магриба, он давно стал самым французским французом. Одного взгляда на финансиста было достаточно, чтобы понять: те, кто не доплыл в дырявых лодках до желанных берегов Запада, просто плохо гребли. Худшие африканцы идут на дно, а лучшие – доплывают. Надо знать, на какой лодке плыть.

Советолог Александр Янович Халфин, человек с дробным лицом, попытался вступить в диалог с французским мыслителем.

– Вы не находите, – представил Халфин французу свою любимую мысль, – что Россия – это всего лишь испорченная Европа? Мы спрашиваем себя: не пора ли ставить на России крест?

– Неужели все так плохо? – любопытно спросил финансист.

– Мы – жертвы марксизма, – сказал концептуалист Бастрькин скорбно.

– Если у вас есть свободный час, – подхватил Халфин, – я это немедленно докажу...

– Маркс не прав, – согласился Аттали, – социализм не есть альтернатива капитализму, социализм встроен в историю капитализма.

– Вот, кстати, небольшой труд по этому вопросу, – заметил Александр Янович Халфин и выудил из портфеля свой заветный трехтомник, – горячо рекомендую.

– Кто автор? – поинтересовался француз.

– Это плод десятилетних размышлений, – сказал Халфин и посмотрел затравленно на успешного финансиста. – Хочу обратить ваше внимание на второй том, здесь я расправился с Марксом.

– Вот как, – сказал Аттали.

– Спросите француза про казино, – шипел на ухо Бастрькину майор Успенский, – спросите у француза, как добиться разрешения на игру.

– Он не по этой части, – шептал в ответ Бастрькин.

– Что я, людей, по-твоему, не вижу? – шипел прокурор. – Я профессионал, шулера за версту чую.

– В третьем томе содержится анализ современности, – настаивал Александр Янович Халфин, – я зачитаю вам принципиальные страницы.

– Скажи ему, что я приглашаю на ужин, – шипел на ухо Бастрькину прокурор. – Платить не надо, все за счет фирмы.

– Не приставай ты к банкиру с антисоветчиной, дай я ему двуглавого орла покажу, – шептал в другое ухо концептуалисту Шаркунов, художник-патриот.

– Благодарю вас, – сказал равнодушный француз и отошел.

– Европейцы не готовы использовать наше знание, – пояснил Халфин Бастрькину.

Французский мыслитель-финансист пошел прочь, а русские интеллигенты глядели ему в спину.

– Еще пожалеет, – мрачно сказал прокурор Успенский, – знакомство с прокурором никому еще не вредило.

– Россия цивилизованному миру безразлична, – сказал концептуалист Бастрькин.

– Он же еврей, – сказал художник-патриот Шаркунов. – Ты на него в профиль посмотри. Ему на русских плевать.

– Человек деньги заработал, – грустно сказал Халфин, – не будем его судить...

– Мог бы инсталляцию купить, если деньги есть, – сказал Бастрькин.

– Французы жадные, – сказал художник-патриот. – У меня вот коптевские бандиты на сто тысяч товара взяли... Правда, деньги Базаров присвоил... а я на храм хотел пустить.

Интеллигенты расстроились: культурный диалог меж странами, который прежде лился полноводной рекой, – обмелел. Эх, раньше, бывало, скажешь: Маркс – чудовище, и на три часа разговоров хватит, а потом тебе чек выпишут. Жили как в раю, можно сказать, и обидно то, что этим раем мы были обязаны проклятому коммунизму. Пока бранили диктатуру – жилось недурно, а теперь что? Сказать, как выясняется, друг другу совсем нечего. Ну да, не любим тоталитаризм, а деньги любим. Это, конечно, здравый посыл для диалога – но дальше-то что?

– Надо было мадам Бенуа в делегацию включить, – сказал художник-патриот, – француз с французом всегда договорится... Ему, чувствую, отстегнуть бы надо...

– Он, допустим, у тебя инсталляцию купит, через банк перевод сделает, а ты ему наличными половину вернешь, – быстро сообразил прокурор.

– Мне еще Базарову две трети отдавать, – мрачно сказал патриот. – Плохая коммерция.

Ах, если бы просвещенному миру набраться базаровской мудрости! Если бы найти универсальный язык общения! Базаров закупил три тысячи игральных автоматов, расставил их в пятнадцати городах, в подвалах принадлежавших ему галерей, и теперь тратил время только на обеды с прокурорами – остальное шло само собой. Никакого символического обмена, никаких дискуссий, конкретная ежедневная работа.

– Следует, – говорил Базаров, – посылать молодежь вместо университетов в казино: есть шанс научиться.

Но миру и университеты уже были без надобности, учиться было поздно. Мир был в растерянности: не хотел падать, и стоять не получалось. В мирном мире росли расходы на вооружение – и не в бомбардировках дикарей было дело. По меткому выражению торговца оружием Эдуарда Кессонова, того самого, что спонсировал прогрессивные выставки концептуалистов на Венецианской биеннале: «В свое время недобомбили – и теперь полумеры сказываются». А уж Кессонов знал, что говорил: по сравнению с так называемой гонкой вооружений в период холодной войны расходы на оружие сегодня возросли в сорок раз. Заказов было столько, что не успевали оформлять контракты – и тем добрым людям нужны боевые вертолеты, и этим миротворцам необходимы противопехотные мины. Едва смертоносное оружие придумают, как очередь выстраивается из гуманистов: хотим и эту удушающе-парализующую смесь прикупить! Только непонятно: с кем воевать собрались? Все кругом – демократы!

## 9

Присутствие следователя шокировало собрание.

– Следователь? – громко переспросил профессор Халфин. Его бледное лицо, бумажный платок многократного использования, сморщилось еще больше.

– Следователь! – утвердила Фрумкина.

– Следователь, вообразите! – сказал Панчиков. – А я с ним беседовал!

– Не может быть, чтобы следователь, – усомнился Кессонов, торговец оружием.

– Зачем здесь следователь? – мягко поинтересовался у своих соседей меценат Губкин.

В это самое время обед подошел к концу, официанты раздали кофе, началось брожение по залам особняка с чашкой в одной руке и рюмкой ликера в другой. Пили кофе, курили сигары и передавали друг другу слово «следователь». С какой интонацией ни произнеси, скверное слово. И зачем он здесь?

– Следователь? – Лидер оппозиции Пиганов распрямылся. Он выделялся из общей массы гостей выправкой, в минуты опасности напоминал офицера на поле боя. Такие люди не случайно становятся лидерами – сказались наследственность: Пиганов рассказывал, что его род восходит по материнской линии к баронам Пруссии. Пиганов он был по отцу, знаменитому дипломату, а по матери – фон Эйхгорн. Герман фон Эйхгорн, генерал, – командовал в Первую мировую 10-й армией Вильгельма, окружал русские войска на Мазурских болотах, брал Минск, Оршу и Могилев – был его прадедом. А Герман фон Эйхгорн – если кто интересуется – приходился внуком великому философу Фридриху Шеллингу. Что значит порода! У предка Николая Пиганова брал уроки цивилизованной мысли сам Чаадаев – случайно ли внук генерала и правнук философа занялся проблемой демократии в дикой стране?

– Следователь? – повторил Пиганов. – Даже здесь?

– Кажется, я все понял, – устало сказал Халфин. – Возьму огонь на себя.

Он отставил чашку, вздохнул – не в первый раз, судя по всему, приходилось ему выходить на поединок с властями. Шаркая, приблизился профессор к следователю Щербатову, остановился перед ним, посмотрел в глаза. Халфин был сутул, седые волосы растрепаны, лицо в морщинах – так и выглядят достойные профессора американских университетов, хранители знаний.

– Халфин, – представился Халфин, не протягивая, однако, руки. – Впрочем, мое досье наверняка изучили.

– Ваше досье? – переспросил следователь.

– Вы, я слышал, любите посидеть в архивах. Мою биографию изучили до тонкостей?

– Первый раз слышу вашу фамилию, – сказал следователь.

– Довольно, – сказал ему Халфин, – я подписал это письмо. – Он возвысил голос, чтобы слышали в другом конце зала. – Поставил подпись!

– Какое письмо?

– Не знаете? – сказал Халфин насмешливо. – О письме в Страсбургский суд по правам человека вы – следователь! – ничего не слышали! Письмо, требующее немедленного освобождения всех арестованных предпринимателей!

– И что же?

– Помню, как арестовали тех, кто подписал письмо в защиту Чехословакии. Пришли за мной?

– Я поставила подпись тоже! – Фрумкина приблизилась к Халфину, встала с ним плечом к плечу.

– Меня посчитайте, – сказал Семен Панчиков.

– И я подписался, – сказал адвокат Чичерин.

Быстрыми шагами приблизилась госпожа Губкина:

– Знала, что он из КГБ! Гражданин опричник, я тоже письмо подписала.

Впятером стояли против следователя Щербатова.

– Письма не читал, – растерянно сказал следователь.

– Приступайте, – сказала Фрумкина. – Отпечатки пальцев снимать будете?

– Скажите, уважаемый, – спросила Губкина, – вам не стыдно?

Эпитет «уважаемый» писали прежде в официальных бумагах, ныне в обществе никого так не называли. «Рукопожатные» имелись, «уважаемых» не было. Данный эпитет употребляли, чтобы поставить на место, так теперь обращались к прислуге.

– Действуйте, уважаемый! Доставайте блокнот, гражданин следователь, пишите фамилии.

И слово «следователь», грозное в тридцатых годах прошлого века, звучало жалко. Преследовать воров стало делом непопулярным. Воровство – это грех, кто спорит, но понятие воровства расширилось несказанно: собственно, это уже не только деньги тянуть из кармана. К тому же забрать со счетов у Пенсионного фонда лишний процент, организовать однодневную фирму, на которую переводят доходы государственного предприятия, – это не вполне воровство. Большинство присутствующих получали деньги в результате хитроумных комбинаций – но воровство ли это? Такую деятельность привыкли именовать бизнесом, оптимальной организацией работы или корпоративным соглашением. Те, кто не умел проявить инициативу, считались неудачниками, а следователь – то есть тот, кто прикладывал аршин неудачи к сложной карте бизнеса, сделался лишним человеком в коллективе. Какой пример он мог подать молодежи?

– Вместо того чтобы разоблачать коррупцию Кремля, – сказал вполголоса Пиганов, но его услышал весь зал, – следователи ходят на дармовые обеды. И кто-то жалуется на безработицу?

Иные вожди умеют так сказать, что площадь встрепенется. Рассказывают, что Иосиф Сталин говорил негромко, но слова разносились по всей Красной площади. Демократ Пиганов обладал теми же ораторскими данными.

– В Кремле берут миллионные взятки, а чиновника прислали ловить инакомыслящих.

– Вам зарплату в кассе выдают? – крикнул следователю Ройтман. – Или в конверте?

– Скажите, уважаемый, – поинтересовался журналист Сиповский, – мы не ошибаемся, предполагая, что в верхних эшелонах власти царит мздоимство?

Сиповский умеет сказать деликатно, но убийственно. Пиганов в очередной раз подумал, что Сиповского надо пригласить спичрайтером. Говорят, гомосексуалисты очень артистичны; надо бы привлечь его к работе.

Зал смеялся, напряжение прошло, гости вернулись к напиткам, потянулись к десерту – в центр комнаты выкатили стол с серебристым сливочным монументом. Монумент был исполнен в виде Дворца Советов, огромного здания, спроектированного Советской властью, да так и не построенного. На самом верху кремовой пирамиды водрузили цукатную фигурку Ленина. Лидер оппозиции Пиганов, политик Гачев и посол Франции господин Леконт вооружились лопаточками для торта и приблизились к Владимиру Ильичу. Эх, попался Ильич! Фанни Каплан не добила, зато сейчас его съедят!

Пиганов взмахнул лопаточкой над лысым черепом из засахаренной дыни.

Про следователя гости забыли мгновенно. Отвернулись – и наблюдали за тортом. Сейчас Пиганов разберется с этим Ильичом! Лидер оппозиции, генерал от либерализма, сделает то, на что его прадеду не хватило ни времени, ни здоровья. Властным движением Пиганов приложил лопаточку к темени злополучного председателя Совнаркома. Фон Эйхгорна называли «некоронованным королем Украины» – вот откуда у внука властные жесты; а убил фон

Эйхгорна левый эсер, начитался террористических брошюр. Вот теперь пришла пора внуку свести счета.

Раз! – и впилась лопаточка в темя пролетарского вождя.

Смотрели как театральное представление. А коррупция? То, что в стране пропадают деньги, знали все. Проявишь ненужную принципиальность, и ненароком можно поругаться с милым человеком. Даже неприлично об этом говорить в рукопожатной компании.

## 10

Существуют две точки зрения на российское воровство.

Поскольку на наших страницах появился следователь, мы рассмотрим обе версии: одна осуждает присвоение чужого, а другая объясняет.

Первая выглядит так.

Принято считать, что Россия – тюрьма народов, а в тюрьме есть два действующих лица: вор и следователь. Прежде имело смысл народное добро сторожить и выяснять, куда оно делось: в годы тоталитаризма героем был следователь. Теперь героем стал вор.

Словарь общезначимых понятий изменился. Вместо слова «деньги» стали говорить – «бабло», и «бабло» являлось уже не мерой труда, но критерием успеха. Вместо слова «гражданин» говорили «лох», вместо «товарищ» – «клиент», а вместо «идеал» – «проект». И гражданин заставили выучить этот жаргон, как некогда заставили выучить непонятные коммунистические слова «комиссар» и «трудодень».

Важно то, что новый словарь не просто замещал одно слово другим. «Деньги» и «бабло» – это принципиально разные понятия, из разных экономических формаций. Деньги – эквивалент труда; но бабло – это то, чего лох в принципе иметь не может. Воры принципиально не работают, и хотя в финансовых документах значилось слово «деньги», имелось в виду «бабло». Символический обмен – а воровство, как правило, происходило в банках и офисах, отнюдь не на большой дороге при свете фонаря – использует бабло, а деньги – это еще из времен обмена натурального.

И бабло, и деньги печатают в казначействе на одинаковой бумаге – но смысл они имеют разный. Так железный крест на кителе фашиста и железный крест на колокольне церкви имеют одну форму – но сугубо разный смысл.

Скажем, граждане недоумевали, почему в стране финансовый кризис, а миллиардеров все больше. Это происходило потому, что работали одновременно две экономические системы: инфляция обесценивала деньги, но приумножала количество бабла. Когда во время кризиса решили напечатать дополнительные миллиарды, экономисты старой школы вполошились: как же так – промышленность стоит, а денег становится больше, кто же тушит пожар дровами! Но печатали не деньги – печатали бабло, то есть меру успеха вора, а не эквивалент труда лоха.

Способ конвертации денег в бабло прост. Например, строится дом, и деньги, истраченные на строительство, в пять раз превышают себестоимость постройки. Чиновник выписывал из бюджета несоизмеримо большие деньги, нежели требовалось, с тем чтобы ему тайно вернули большую их часть, – так деньги превращались в бабло. При этом реальный дом лишь помеха, поскольку нельзя на этом месте начать новое строительство. Построенные дома ломали и начинали заново строить по той же самой схеме. И ровно то же происходило со всей страной – строить ее, разваленную, было никому не выгодно; разумно было выписать деньги на строительство, начать строить и тут же снова ломать.

Лохы возмущались: не понимали, что бабло образуется именно как результат деструкции.

Лохов «чморили» (то есть унижали). Их чморили пенсионные фонды, в которые они по привычке отдавали деньги на старость, а те тут же превращались в бабло – и уходили на другие нужды. Их чморила инфляция, потому что деньги падали в цене, в то время как бабло в цене росло. И главное: договорились, что пресловутое «коллективное хозяйство» и так называемый «государственный бюджет» – есть не что иное, как «общак», воровская касса, откуда бабло берут паханы. Граждане недоумевали, почему бюджет пуст, но никто не грабил бюджет – просто общак пускали на грев зоны. Воры в законе распределяли общак – и тот,

кто пожелал бы сопоставить этот процесс с планированием бюджета, ничего бы не понял в современной экономике. Страна превратилась в организованную преступную группировку – так считали растерянные лохи, – и Россия жила по понятиям воров, а рядовых граждан чморили, а что еще с ними делать, с сывками позорными?

Вполне возможно, что лохи смотрели на действительность предвзято, но им казалось, что мафия брала власть в городах и устраивала там жизнь по воровским понятиям, чтобы потом передать эту власть еще более крупным ворами, правительственным чиновникам. Крупные воры становились сенаторами и губернаторами, депутатами и лидерами партий – и никто больше не скрывал, что в верхней палате парламента заседают люди, еще пять лет назад возглавлявшие банды. Сенаторы Чпок и Балабос, некогда украшавшие собой солнцевскую и коптевскую криминальные группировки, сегодня являлись законными миллиардерами и решали, как стране жить дальше.

Бандитов в прессе называли «меценат», это был официально принятый термин. Помещали фотографию бандита и под ней подпись: «меценат». Данное определение не расходилось с истиной: воры увлеклись собирательством. Начали с того, что собрали дворцы и земли, финансы и власть, а затем перешли к антиквариату и современному искусству.

Под давлением вкусов воровской малины культура изменилась стремительно.

Воры любят сладкое – и культура стала липкой. В целом образование бабла зависит от деструкции страны – но жилье самих воров строили пышно. Фасады домов гнулись от завитушек, платья слепили стразами, статуи блестели позолотой. Любимый жанр воров – детектив, и главными писателями стали авторы детективов. Андеграунд советских времен был уныл, современный авангард сиял и искрился. Это было бандитское искусство, лидерами страны двигала плотоядная любовь к жизни.

Сперва интеллигенция не знала, как себя вести с ворами. Интеллигентов приглашали на жирные банкеты, сажали рядом с паханами. Интеллигенты кушали с удовольствием, но им было стыдно. Понятно, что большевики хуже, чем воры. Но и воры тоже, как бы это помягче сказать, чтобы не обидеть мецената, – воры тоже не сахар.

Пока воры строили безвкусные коттеджи в Подмоскowie, их компанией брезговали. В конце двадцатого века Подмоскowie заросло краснокирпичными избушками с аляповатыми башенками – так воры представляли себе прекрасное. Архитектор Кондаков мало кому рассказывал, что построил для мецената Губкина несколько особнячков с башенками, неловко было. Но возвели виллу Губкина в Тоскане по канонам Витрувия – и фотографию напечатали во всех журналах. Архитекторы внедрили в сознание воров пристрастие к Витрувию и облагородили пропорции уворованного. Коттеджи стали стройнее, меценаты научились разбираться в стилях.

Торговец оружием Кессонов мог безошибочно отличить произведение социалиста Ле Корбюзье от творения капиталистического архитектора Кондакова по той причине, что у Корбюзье пропорции рассчитаны на убогие потребности, а у Кондакова – на потребности безразмерные.

Тот самый планктон, который прежде лип к райкомовским работникам, отныне обосновался в офисах корпораций. На сходки малины интеллигенты не ездили, но когда малина переехала в небоскребы – знакомство перестало быть стыдным. Как и положено фраеру в блатном бараке, интеллигент должен был «тискать романы» братве и чесать пахану на ночь пятки. Служилая интеллигенция пробавлялась тем, что составляла коллекции антиквариата для особнячков воря, пела ворами романсы в загородных усадьбах, писала для воров недлинные статьи о вреде социализма.

Прошло немного времени, воры завладели миллиардами. Переехали из кирпичных коттеджей в мраморные усадьбы, потом скупили самые большие дворцы мира, скупили улицы в лондонском районе Белгравия и шеренги домов на Елисейских полях, приобрели

острова в теплых морях и огромные океанские яхты. Воры украли столько, что отрицать их существование – значило отрицать мир, поскольку воры владели всем зримым миром. Они украли весь мир, и когда яхта главного мецената входила в Венецианский залив, гигантский корабль закрывал горизонты: ни Дворца дожей, ни собора уже видно не было. И служилые интеллигенты умилялись размаху хозяев. Меценаты не сделались ни на йоту лучше и честнее – но знакомством с ними уже не брезговали.

Как написал Борис Ройтман: «Всякому хочется, чтобы его пригласили на яхту, – и не будем притворяться, что есть такие, кто откажется».

Интеллигенты брали бабло из рук воров, нимало не заботясь о том, как эти средства получены – наркоторговлей, грабежом пенсионных фондов или выселением кварталов бедноты в еще худшие трущобы. Интеллигенты оправдывали себя тем, что просто делают свою работу – рассказывают ворами о прекрасном, пишут либеральные статьи, чешут пятки. В конце концов, кто-то должен чесать пятки паханам – и если делать это квалифицированно, почему не брать гонорар?

Скажем, учреждается литературная премия «Взлет» за свободолобивую публикацию. Учредителем стал миллиардер Алекс Чпок, некогда глава преступной группировки, а ныне владелец металлургических комбинатов, занимающий в списке богачей мира почетное место. И писатель получал деньги, которые Чпок добывал буквально потом и кровью – причем не своими. Литературные круги недоумевали, как будет выполнена призовая статуэтка: в форме маленького золотого утюга, наподобие тех, которые рэкетир Чпок ставил на живот должникам, или в виде серебряного паяльника – наподобие тех, что вставляли жертвам в задний проход? Однако призы (платиновую фигурку балерины) брали с удовольствием, а дающую руку в перстнях лобызали охотно.

Покровителем концептуалиста Бастрыкина стал торговец оружием, табаком и наркотиками Эдуард Кессонов. Проходили выставки свободолобивого мастера, а за инсталляциями маячила грозная фигура Кессонова, человека, про которого говорили, что он закатывает недоброжелателей в асфальт. Покровительство чудесным образом не тяготило художника, а вот бывший надзор компартии мастеру мешал. Интеллигенция служила свободе – а откуда свобода берется, какая разница: дух дышит там, где хочет.

Противоречий в деятельности и источнике финансирования – не замечали. Кессонов, Губкин, Чпок и прочие меценаты разрешили интеллигентам заниматься любимым делом: интеллигентам позволили – даже велели! – критиковать тоталитаризм.

Не было ненавистнее строя для воров, чем социализм, и воры разрешили интеллигентам свести счеты со Сталиным. Сводить счеты было легко, благо тиран шестьдесят лет как упокоился в могиле, но интеллигенция восприняла приказ точно приглашение на баррикады. Толпа взволнованных людей высыпала на центральную площадь столицы, украсив себя значками «Я знаю правду!». Имелось в виду совсем не то, что происходит со страной сегодня, но то, что происходило со страной сто лет назад. Уместнее смотрелся бы значок с надписью «Я знаю правду, причем очень давно, но раньше боялся ее говорить, а сегодня мне разрешили!» – но эта надпись показалась слишком длинной. Разоблачить коммунистический режим всегда хотелось, что же в том зазорного? Интеллигенты бойко осуждали большевиков, но никто из них не краснел, ежедневно заискивая перед убийцами, целуясь с проститутками и пожимая руки мошенникам. Постепенно интеллигенция дошла до желанной степени рассеянного склероза, который мертвил некоторые участки сознания, но сохранял в бодрой подвижности инстинкты. Интеллигенты знали, что стали сообщниками бандитов, но коль скоро закон в России – это произвол, а воровство – свобода, они говорили себе, что служат свободе.

Наиболее расторопные из интеллигентов сами научились добывать бабло – открывали рестораны, клубы и бары. Были времена, когда голодные художники встречались в кафе,

прихлебывали дрянной кофе. Нынче творческие люди тоже встречались в кафе, как и во времена Модильяни, но уже в собственных заведениях, и в отношении питания стали привередливы. Изменились также представления о размерах заработной платы. Представьте Амадео Модильяни, ставшего владельцем «Ротонды», и вообразите Хаима Сутина, нанявшего итальянских поваров, они бы тоже научились разбираться в бухгалтерии. Интеллигенты не хуже воров умели теперь вздуть цены, урезать порции, продавать лежалый товар – и это ничем не отличалось от их культурной деятельности: так они продавали залежавшуюся ненависть к Сталину и урезали порции стыда.

Интеллигенты научились понимать психологию жулья, поскольку ежедневно немножко жульничали сами. Пороки, неприличные прежде, стали нормой жизни городской публики с высшим образованием. Интеллигенты демонстрировали поразительную моральную устойчивость к развратной жизни. Они переняли у богатых спонсоров лексику и манеры – стали матерно ругаться, употреблять много алкоголя, ежедневно врать, попрошайничать и воровать.

Они жили отныне наипаскуднейшей жизнью, но сберегли словарь прекрасных эпитетов, унаследованный от девятнадцатого века. Рестораторы, риэлторы, редакторы модных журналов, модели и спичрайтеры по-прежнему именовали себя интеллигентами, хотя давно принадлежали криминальной корпорации. Впрочем, прежде интеллигенты жили при Советской власти и сохраняли свой цех среди варваров, а нынче сохранили его среди воров. Как остроумно выразился политический мыслитель Митя Бимбом: «Я интеллигент потому, что живу на этой территории и думаю про отвлеченные вещи». И хотя конкретных вещей вокруг Бимбома было достаточно, именно отвлеченность его мировоззрения делала его интеллигентом.

Интеллигенты сами стали ворами – и слово «воровство» потеряло оценочный смысл. Так звучит первая версия, обвинительная.

## 11

Существовала версия вторая, апологетическая.

Советская власть привела страну к нищете. Что с того, что люди были формально равны? Они были равны в бесправии. Что с того, что было бесплатное медицинское обслуживание? Оно было убогим. И главное: люди сделались ленивы. Ни культурных свершений, ни предпринимательской деятельности, ни прорывов в научных изобретениях не наблюдалось, и как иначе могло быть при рабском труде? Люди стали рабами, их можно было использовать на любые нужды казарменного строя, собственной воли у них не было. Подавление Чехословакии, война в Афганистане, охрана в лагерях – советский человек выполнял что велят.

Генезис современного рабства описал философ Карл Поппер в знаменитой книге «Открытое общество и его враги». Поппер показал, как, начиная с «Государства» Платона, насаждался казарменный рай, как модель равенства подменила модель развития. Кульминацией казарменной утопии стал большевизм, угрожавший всему миру. В чем конкретно была угроза? В саботаже прогресса – казарме довольно забора и фельдфебеля. Человечество, благодаря идеологии Советов, могло превратиться в одну общую казарму. Было практически доказано, что Сталин и его последователи стремились захватить весь земной шар, внедрить везде мораль ГУЛАГа. Просвещенному человечеству стало понятно, что мировая война была неизбежна – войну готовил не столько Гитлер, сколько Сталин и большевики. Большевикам требовалось сделать всех людей рабами.

Люди страшились того, что Советская власть захватит земной шар целиком: в двадцатые годы действительно появлялись коммуны в Европе, а после войны возникли социалистические европейские страны. В западных журналах публиковали рассекреченные советские документы: оказывается, Генштаб СССР разрабатывал вторжение в Западную Европу. Теория «мирового пожара» была (как стало многим понятно) страшнее, нежели идеи «Майн кампф». Гитлер был чудовищем, однако нацизм родился как реакция на Сталина, говорили люди вдумчивые. Фашизм, если разобраться, есть паритетный ответ на сталинизм. Российские разведчики перебежали в западные страны, рассказывали западным спецслужбам о коварстве бывлых хозяев. Историк Эрнст Нольте в своей работе «Европейская гражданская война» показал, что убийство по расовому признаку есть не что иное, как ответ на убийство по классовому признаку. Фашисты потому душили в газовых камерах евреев, что коммунисты отправляли на Колыму кулаков. Сначала Нольте обвинили в реваншизме, нехотели вспомнили, что Эрнст Нольте – ученик Мартина Хайдеггера, а последний был членом НСДАП. Однако Хайдеггера давно уже оправдали – не последним его адвокатом была знаменитая еврейка Ханна Арендт, борец с тоталитаризмом. И коль скоро Хайдеггер не виновен, сняли вину и с Нольте. Постепенно положение о том, что фашизм есть реакция на коммунизм, разделяли все больше мыслящих людей, и разве Фултонская речь не обозначила нового врага Открытого общества?

Одним словом, СССР был реальной угрозой демократическому миру – и его крушение приветствовали все либералы. К тому времени как верховную власть в России получил бывший первый секретарь Свердловского обкома партии, а ныне свободолюбивый либерал Борис Ельцин, всем было понятно: если не демонтировать Советский Союз, случится беда. Почему на роль крушителя Советской России был избран партаппаратчик – вопрос отдельный, но барственным ударом кулака Ельцин разгрохал плановое хозяйство и казарменный социализм. На пепелище должно было возникнуть гражданское общество. Намеревались построить нечто на манер западных демократий, обсуждали кодекс прав и свобод и быстро поняли, что начать надо с частной собственности. А как внедрить вкус к частной соб-

ственности среди вчерашних рабов? Говоря проще: как в одночасье получить частную собственность, достаточную по объему, чтобы управлять жизнью страны? Заработать столько нельзя – можно только присвоить. Бывший секретарь обкома бросил клич: «Пусть каждый берет сколько может!» В одночасье бывшая империя превратилась в Клондайк – ходи забивай колышки, огораживай свой участок. Была объявлена приватизация общественной собственности, и – что тут влиять, всякое бывает на перекрестках истории – многое осело в руках людей авантюрных, каких при социализме обвинили бы в хищении народного добра.

По сути, новая власть провела процесс, обратный коллективизации, и совершила шаг, обратный индустриализации – а именно: провели приватизацию и де-индустриализацию страны. Заводы остановили, промышленность обанкротили, предприятия закрыли, коллективные хозяйства упразднили: то была столыпинская реформа на новом этапе, только роль ненужной общины играла вся страна. Столыпин действовал в интересах промышленного производства, но то было сто лет назад – нынче наступила эра символического обмена, производство только мешало. Пришла пора стремительно развалить промышленность, дабы, не отягощенные ничем, вступили новые люди в эпоху постиндустриальную.

Но мало этого: социализм следовало упразднить раз и навсегда, уничтожить коллективную собственность начисто. Все богатства земли стремительно раздали людям верным и расторопным.

Здесь, не стесняясь, следует произнести: да, имущество, формально принадлежавшее всему народу, распределили между пятьюдесятью семьями. Власть решала, кому отписать месторождение, карьер, скважину; в качестве владельцев выбирали самых ловких – а кого прикажете выбирать, ленивых? Угодно называть новых собственников ворами? А у кого они украли? У народа? Так у народа все равно ни шиша не было.

Интеллигенция, призванная быть судьей исторического процесса, была всецело на стороне воров. Сочувствие к народу сделалось в интеллектуальной среде чувством позорным. В былые времена разночинцы заигрывали с народом, опрощались, не то нынче. Новая интеллигенция любую сочувственную реплику сразу осмеивала, образованные люди стеснялись популистских ремарок по поводу так называемых народных тягот. Каждый народ, говорили люди умственные, достоин своей судьбы. Народ-неудачник, в сущности, сам виноват: если бы этот народ не поверил слепо в социализм и не сделался лентяем на тощих бюджетных дотациях, он бы сумел проворно интегрироваться в постиндустриальную экономику. Не научились, не успели, не смогли? Виноватых не ищите, посмотрите в зеркало. Это вам не водку пить и не детей рожать! Тосковать по своему заколоченному заводу да по советской пенсии – удел никчемных людей. Конечно, демагог скажет, что народ не просил перетаскивать его из одной экономической формации в другую, – но будем справедливы: история общая для всех, а кто не успел на поезд, тот остается на перроне.

Уж лучше так называемый вор, говорили либералы, чем советский вертухай. Пусть достанутся авантюристу нефть и газ, пусть владеет нечистый на руку делец алмазами и рудой, лишь бы не отдать все анонимной власти толпы. Да, процедура болезненная – но лучше такое зло, чем большой концлагерь. И вообще, демократию строить – это вам не пряники кушать. Не стоит лицемерить: да, владелец газеты был при большевиках судим за грабеж; да, собственник сибирских рудников кого-то убил; да, сенатор похитил из Пенсионного фонда сотни миллионов; да, заместитель министра культуры берет взятки! Пусть так! Однако эти люди не гноили в ГУЛАГе миллионы заключенных, не устраивали Голодомор на Украине!

Способ, каким богачи сделались богачами в России, не описан ни в каком экономическом учебнике, это был трюк – но что с того? Важен результат: появилась элита собственников, и ворами служили потому, что они объективно олицетворяют прогресс. Идеолог приватизации Чубайс объяснил, не скрывая, что приватизация была фальшивой: никто у государства

предприятия и недра не выкупал. Все раздали даром – верным холуям. То была необходимая мера. Считаете это кражей? Вы что, Прудона начитались?

Так звучала вторая версия.

Первая версия и версия вторая были непримиримы, договориться не удавалось. Любой спор казался диалогом умалишенных:

- Вы страну разворовали!
- А Сталин был тиран!
- У пенсионеров пенсии крадут!
- Вы что, в лагеря захотели?
- Денег у народа нет, а жулье дворцы строит!
- Коммунизм – это зло!

Как договориться?

Люди говорили точно в бреду, свирепея в бесплодных спорах.

## 12

Лидер новой оппозиции Пиганов принял участие в споре на последнем этапе, вместе с ним на митинги вышли наиболее активные люди страны – они хотели покончить с воровством. Они называли себя «креативным классом», те, кто выходил на площадь. Впрочем, боролись не с воровством как таковым – но с тем досадным фактом, что награбленное взято под контроль наиболее сильным кланом.

Пиганов говорил на митингах так:

– Создана новая номенклатура. Работники ГБ захватили власть. У народа украли свободу. Демократия украдена. Рынок разрушен. Даешь рынок!

И народ гудел: дае-о-ошь! Люди привыкли к тому, что рынок – необходимое воровство, им казалось, что, когда в воровстве наступают перебои, – это крайняя степень беды.

– Долой коррупцию! Рынок без номенклатуры! – кричал Пиганов.

И народ гудел: дае-о-ошь! Так Кронштадтские моряки выступали за Советскую власть без большевиков. И заманчиво, и недостижимо, поскольку именно большевики насадили Советы, – а коррупция образовалась ровно в тот момент, когда недра страны раздали верным чиновникам.

– Даешь свободные выборы! – кричал Пиганов.

И народ гудел: дае-о-ошь! Впрочем, коль скоро в России свободных выборов не было никогда, этот лозунг понять было затруднительно, но звучал он красиво.

Циркулировали слухи, что деятельность Пиганова оплачивает американский Госдепартамент, что его инструктируют заокеанские политики. Пиганов смеялся, а его соратники, креативные люди, выходя на трибуны, выворачивали карманы, высыпая мелочь и крошки табака.

– Что-то не нахожу у себя денег Госдепа! – кричал в толпу Ройтман, и толпа веселилась.

– Пусть мне пришлют мои трудовые иудины доллары! – кричала Фрумкина под свист и аплодисменты.

– Почему-то не видно шпионских гонораров! – кричал пожилой профессор Халфин, и толпа свирепо хохотала.

На приеме во французском посольстве Пиганов появился не случайно. То был обдуманный ход – правительственные сыщики ждали, что лидер оппозиции пойдет за инструкциями в американское посольство, но Пиганов пошел во французское – сбив ищеек со следа. Кому бы пришло в голову, что политическая платформа обсуждается здесь, на званом французском обеде? За десертом, вместе с Гачевым и Тушинским, политики выработали общую программу действий. Каждый из них отвечал за свой сегмент; Гачев выводил на улицу народ, которого Пиганов с Тушинским боялись. Тушинский отвечал за настроения провинциальной интеллигенции. Пиганов общался с Западом и финансистами. Гачев был Марат, Тушинский – Дантон, Пиганов – Робеспьер. А резиденция посла на Якиманке была кабачком на улице Павлина. Сегодня решилась судьба революции.

– Выборы, разумеется, будут фальшивыми. Пусть так. Мир должен увидеть, как нас дурачат, – сказал Пиганов.

– Вы правы, нарыв должен лопнуть.

– Режим недолговечен.

– Страна ничего не производит, кроме нефти, а нефть он присвоил себе.

– Пусть он задумается, глядя на революции Востока.

– Я сам привел его к власти, – говорил Пиганов о действующем президенте, – сам его и уберу!

Пиганов преувеличивал: он всего лишь входил в компанию финансистов, приведших нынешнего президента на царство. Дело было так.

Когда первый российский реформатор, раздавший страну верным, стал блевать по утрам и засыпать на международных приемах, ему нашли замену. Требовался необременительный царь, конкурирующие группировки искали неказистого юношу Романова, которым можно управлять. Новичка призвали с тем, чтобы он охранял нажитое олигархами добро, стал внимательным сторожем накопленных богатств. Когда богачи выбирали, кого ставить сторожем уворованного, они присмотрели именно невзрачного человечка, полковника недоброй памяти КГБ. В те годы бывшие офицеры госбезопасности шли в охрану к воротилам, их принимали в обслугу. Пригласить полковника КГБ на княжение – идея эффективная: госбезопасность уже не опасна, секреты давно распроданы, и полковник смотрелся гербовым львом на задних лапах. И поставили сторожа – пусть смотрит за сундуками, нужен и на пиратском корабле капитан, который следит за дележом добычи. В первые годы нового царствования финансисты склонны были прощать сторожу грубость – в конце концов, невоспитанный солдафон. Но год от года аппетиты гербового зверя росли. Президент окружил себя офицерами госбезопасности, своими былыми коллегами – они стали требовать у богачей делиться добром, нажитым при прежнем президенте. Они собрали компрометирующие материалы, шантажировали богачей прошлым, требовали мзды. Практически каждый из богачей начинал как рэкетир, знал законы шантажа – но ведь этап первоначального накопления уже прошел! Это раньше мы утюги на живот ставили, теперь-то имеем легальный бизнес! А тут государственный рэкет! И терпеть такое от полковника ГБ! Мало мы в годы Советской власти терпели?! А что если институт ГБ не такой уж декоративный, как нам казалось?

И постепенно сознание того, что возвращается тридцать седьмой год, овладело умами. Когда прогремело сравнение полковника Путина с генералиссимусом Сталиным – уже никто не удивился.

Сравнение принадлежало Пиганову – однажды он сказал с трибуны: мы вернулись в тридцать седьмой год.

Ахнул креативный люд: так и есть – возвращаемся к сталинизму, господа!

И если финансисты понимали, что ситуация несколько иная, на сталинские времена не вполне похожая, то для интеллигенции слово «сталинизм» было сигналом. Условные рефлексы сработали – и застоявшиеся шестеренки правозащитного сознания пришли в движение. Сначала бранились тихо. Шептались, как на дедовских кухнях, цедили сквозь зубы, но громко не говорили. И как сказать громко, если твой прямой работодатель – партнер президента по бизнесу? Пошел слух, что президент контролирует прессу. То, что сами финансисты, прямые владельцы газет, контролировали прессу куда более скрупулезно, не учитывалось: говорили, что новая цензура суть следствие диктатуры ГБ. Посудите сами, говорили журналисты, наш владелец подчиняется только законам рынка, а тут еще какие-то государственные препоны. Собственных хозяев ругать не принято – корпоративный принцип интеллигенция усвоила хорошо: ни Губкина, ни Чпока, ни Балабоса не бранили – и за что же? – но президент вызвал гнев.

Журналисты почувствовали себя ущемленными: при одном хозяине их независимость очевидна, а при наличии хозяина у хозяина – свободы гораздо меньше. Шептались и терпели до тех пор, пока новый президент устраивал западных партнеров – но однажды и западные партнеры разочаровались. Отечественным богачам дали знать, что мир не возражает: пора менять капитана пиратского корабля. Но попробуй сменить капитана! Капитан артачился – ах, не затем мы ставили этого невзрачного человечка, чтобы он упирался и спорил! Потребовалось создать новую Фронду – столь же пылкую, как та, что однажды развалила Советскую власть. Фрондеры заговорили в голос, и новые интеллигенты, те, что уже оформили свой

статус при корпорациях, вышли на трибуны. Теперь уже почти никто не боялся – настало время сказать о новом витке тоталитаризма.

Журналистка Фрумкина, та, что боролась со сталинизмом каждой строчкой, стала столь же непримиримым борцом и с новым режимом. Семен Панчиков громко называл нового президента «людоедом», госпожа Губкина, искренняя женщина, ежемесячно прилетала из Лондона, шла в первых колоннах марша несогласных, а политолог Халфин опубликовал статью «Не пора ли ставить на России крест?». Не только креативный цвет общества, но и рядовые граждане почувствовали вкус борьбы. Энтузиасты нашли спрятанные виллы нового президента. И – странное дело! – то, что казалось естественным в отношении миллиардера Балабоса (ну мало ли, сколько у богача дворцов! ему положено!) выглядело чудовищным, если речь шла о президенте. И шли колонны «несогласных» по площадям России, выражая несогласие – не с тем, что страну разобрали на части воры, но с тем, что конкретный офицер взял себе непомерно много. И казалось: прогоним офицера, и все наладится. Те богачи, что вчера присягали на верность державной вертикали, решили выдать правителя толпе – демократия у нас или нет, в конце-то концов! И богачи говорили своей интеллигентной обслуге: вам решать, вы – свободные граждане открытого общества! К этому времени интеллигенты не только обзавелись ресторанами и кабаре, они играли на бирже, сделались специалистами в маркетинге и франчайзинге. Дрессировка интеллигентов зашла так далеко, что, по слухам, литератор Ройтман научился одной рукой чесать пятки хозяину, а другой писать «Марш несогласных». Был ли то навет, сказать затруднительно, но отношения интеллигенции и воров сделались любовными. Богачи говорили интеллигентам: мы страдаем вместе с вами – глядите, они зажимают вашу свободу, а нам велят отчитываться за прибыль! Доколе? Не забудем, не простим!

И дрессированные интеллигенты кричали:

– Позор! Сталинизм!

Богачи говорили интеллигентам:

– Мы такие же, как вы, только немного умнее и практичнее.

И дрессированные интеллигенты кричали:

– Мы одной крови! Мы за свободу! Даешь самовыражение!

И толпы шли на улицы, повязав на рукав белые ленты – знак фронды.

Власть треснула и зашаталась – но власть еще не сдохла. Офицер госбезопасности еще мог запретить демонстрацию, полиция еще могла ухватить фрондеров за шиворот. Марши несогласных разгоняли дубинками, но как жалко выглядели эти потуги власти! Интеллигенты сызнова ощутили себя на передовой – правда, теперь они были не одиноки: за иными несогласными стоял миллиардер Чпок, а за кем-то – меценат Губкин. Геральдический лев бился как мог, огрызался и тьякал, но лев устал.

– Они пойдут на все, они пойдут на амальгамы, – сказал Ройтман Пиганову.

– Да, – сказал Пиганов, – я этого жду.

«Амальгамами» во времена французской революции называли судебные процессы, в которых политику вплетали в уголовное дело. Инсургентов, расстрелявших генерала Леконта в печальные дни Парижской коммуны судили, разумеется, как уголовников, не как оппозиционеров. Поминая то время, потомок генерала господин Леон Адольф Леконт обычно говорил: «В борьбе с крайностями приходится прибегать к крайностям». Недостойная уловка? Если и есть в истории прямые широкие пути, наподобие чудесных парижских бульваров Османа, то проложены эти пути, чтобы спрямить прицел митральез – для расстрела баррикад. Барон Осман лишь выравнивал маршевый путь для прусских батальонов, а красота пропорций возникла как побочный эффект.

Власть пойдет на все, чтобы покончить с инакомыслием. Оппозиционеров стали арестовывать за неуплату налогов, за укрытие капитала в офшорах. Брали за сущую чепуху: за

махинации с акциями, за разворованный Пенсионный фонд. И когда миллиардера-фрондера арестовали за организацию заказных убийств, общество взорвалось. Об опальном миллиардере заговорили все: доколе будут притеснять свободную мысль? Любому ясно, что убийство мэра Нефтеюганска – предлог! Дело, разумеется, в политической платформе обвиняемого. Политолог Халфин выдвинул тезис: «Заклученного на царство!» Пиганов, ревниво относившийся к узнику, тоже воскликнул:

– Даешь свободу узникам совести!

И толпа гудела: дае-о-ошь! Вот сменим президента на опального миллиардера – и жизнь наладится!

Но режим еще был силен.

Каждый в обеденной зале посольского особняка мог предположить, что следователь пришел за ним.

Известно, какими методами пользуются: подбросить в сумочку наркотики, сострять донос в налоговые органы – это они умеют. Здесь, на территории Франции, люди вправе чувствовать себя в безопасности! И вдруг – следователь. Позвали в гости, а сами следователя пригласили, усадили за тот же стол. Это как понимать?

Вид у опричника жалкий: subtilный лысоватый человек в сером костюмчике – и гости отвернулись от опричника к тарту; но временами точно электрический ток пробегал по толпе гостей, и каждый думал: а что если следователь пришел за мной?

Впрочем, торт отвлек, следили, как лысому Ленину оттяпали голову, как лидер фронды Пиганов медленно прожевал голову вождя. Вот как мы с властью: ам – и нету! Однако холодок по спине: следователь-то настоящий, вон стоит, в блокноте пометки делает.

Лидер оппозиции Пиганов не хотел даже поворачивать голову в сторону работника следственных органов – много чести опричнику! – но краем глаза следил; и пока жевал Ленина прикидывал – кто мог вычислить его приход во французское посольство. Вспомнил пару фамилий, насторожился.

Пожалуй, один лишь Чичерин понимал, что следователь совсем не страшен. Пришел по какой-то мелкой надобности, нашпионил, но уже достаточно унижен. У адвоката даже мелькнуло сочувствие к серому коллеге.

– Вы хотя бы пообедали, – сказал Чичерин. – Здесь хорошо кормят.

– Пообедал, – и серый следователь покраснел.

– Теперь и домой пора, – сказал Чичерин.

– Пусть отработает зарплату! – высокомерно сказал Халфин. – Задавайте вопросы!

Однако имейте в виду, ответы прогремят на весь мир!

– Я действительно хотел бы задать несколько вопросов, – сказал серый человек.

– Прошу вас, – адвокат похлопал разоруженного врага по плечу. – Не робейте.

– Вы – друзья Ивана Базарова, я не ошибаюсь?

– Ах, вот вы о чем! Ну, спрашивайте!

– Даже если бы я не был другом, – сказал Халфин торжественно, – то на допросе сказал бы, что я его друг.

– А вы? – Вопрос уже к Фрумкиной.

– Безусловно.

– И вы? – это Семену Панчикову.

– Без сомнения.

– И вы друг Ивана Базарова? – спросил следователь адвоката Чичерина.

– Отвечу, как отвечал бы в суде. – Чичерин сделал знак остальным, чтобы они слушали и учились. – Знаком, но квалифицировать отношения не берусь.

– Приму к сведению. Вы бывали у него в галерее регулярно?

– Встречались на вернисажах, – ответил за всех адвокат Чичерин и движением руки дал понять, что говорить должен только он. – Никогда, – объяснил адвокат остальным, – не давайте больше информации, чем требуется. Помните об опыте сталинских допросов! Встречались ли мы? Встречались без предварительной договоренности на вернисажах.

– Когда виделись в последний раз? – спросил следователь сразу у всех.

– В четверг, – сказал Халфин.

– Никакой конкретики, – посоветовал адвокат с улыбкой. – Господин Халфин хотел сказать, что могли встретиться и в четверг, и в пятницу. Отвечу за Александра Яновича: специально дата не фиксировалась.

– А вы когда были в галерее?

– Дневник не веду, – сказал адвокат.

– Вы просто мастер-класс устроили! Bravo! – Губкина хлопала в ладоши. – Как вы парируете его вопросы!

– Здесь важно не дать следствию ни одного факта. Понимаете?

– Я, знаете ли, не умею притворяться... – Губкина вздохнула, признавая, что искренность играет с ней злые шутки.

– Вы знали, что в галерее, в задних комнатах находится казино?

– Наконец-то! Вот оно! – Адвокат хлопнул в ладоши. – Дело о подпольных казино Базарова! Bravo, майор! Должен вас огорчить, рвение запоздало!

– Не понимаю.

– Да, на Базарова завели уголовное дело! А Базаров – извольте видеть! – орден Почетного легиона получает! Что случилось, вы себя спрашиваете? Растерялись, да? И пришли посмотреть, что происходит?

– Признаюсь, удивился, – сказал майор Щербатов.

– И в архивах объяснений не нашли! – рассмеялся адвокат. – Про Ленина нашли документки, а про Базарова собрать материал не получилось! Открою секрет, уважаемый. Базаров, как установило следствие – видите, я немного знаком с делом! – давал взятки представителям прокуратуры. Так вот, Иван Базаров, не дожидаясь разоблачений, стал сотрудничать с российским судом! Базаров сам разоблачил продажных прокуроров, которые брали у него деньги. Прокуроры привлечены к ответственности. А Базаров немедленно – и по закону! – был переквалифицирован из обвиняемого в свидетеля!

– Неужели?

– В соответствии с распоряжением Ленина, Владимира Ильича! – Адвокат откровенно издевался на противником, призывал и остальных посмеяться. – Приказ номер триста девяносто девять о борьбе со взяточничеством! От двадцать пятого ноября двадцать первого года! За подписью Ульянова-Ленина! Без изменений перекочевал в современный Уголовный кодекс! Пункт четвертый: лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о вымогательстве взятки или окажет содействие раскрытию дела о взятке, – и Чичерин залиvisto смеялся.

– Значит, сняли обвинение?

– Если соблюдать заветы Ильича, наш друг Базаров должен получить десять процентов от капитала взятки! Да-с! И вот Базарову вручают орден Почетного легиона – за неоспоримые заслуги перед культурой, – а продажный прокурор Успенский оказался за решеткой. Вы считаете, что это трюк. А я, адвокат Базарова, склонен считать это проявлением сознательности!

– Поразительно, – приуныл следователь.

– Сочувствую, уважаемый. Дело закрыто, сдано в архив.

Со стороны это выглядело как разнос невежественного ученика-двоечника. Адвокат прошелся по статьям Уголовного кодекса с небрежностью знатока, отщелкал параграфы как

семечки; то был действительно мастер-класс, по определению Губкиной. Петр Яковлевич Щербатов стоял потерянный среди пестрой толпы, теребил обшлага серого пиджачка. Гости изучали его облик с брезгливостью. Многие обратили внимание, что обшлага пиджачка протерлись, видна бежевая подкладочка. Нелепость облика Щербатова стала очевидна всем. Сейчас следователь вернется домой, утром напялит потертый пиджак, поплетется на службу, сложит свои негодные бумажки в дрянной портфельчик, получит нагоняй от серого начальника... Серый служащий, маленький лысый человечек. Адвокат дотронулся мягкой рукой до плеча следователя.

– Вам воров надо ловить, за это зарплату платят, даже знаю, какую зарплату... Наверное, думаете: ах, негодник Чичерин, обманул следствие! Но поймите, – сказал Чичерин, – надо различать преступников и людей предприимчивых.

– Не умею, – уныло сказал двоечник. – Мне Чухонцев, в управлении, постоянно советует. А не получается.

– Я вас научу, – сказал Чичерин. – Прежде вы служили государству, которое сажало невинных в лагеря... Только не надо про дедушку Ленина... И у вас в голове остался образ врага. Базаров ничего дурного не делает, он бизнесмен, и только. За что его преследовать? Небось и ордер выписали...

Следователь ответить не успел. За него ответил сам Иван Базаров. Бизнесмен стоял в отдалении, но вдруг сказал в полный голос:

– В моей галерее идет обыск.

Иван Базаров держал в руке телефон – видимо, кто-то позвонил, доложил.

– Обыск?! – ахнул зал, и труд лучших дантистов столицы вспыхнул под люстрами.

– Взломали дверь, изъяли компьютеры, допрашивают сотрудников галереи.

Лицо Базарова было растерянным: вот вам и вечер в посольстве! И орден Почетного легиона не защитил.

– Успокойтесь, – сказал ему адвокат, – перед вами немедленно извинятся.

– Распилили сейф, вынули деньги.

– Они ответят за это!

– Силовики думают, им все позволено!

– Комитетчики опять у власти, чего вы хотите...

– Что вы творите?! – крикнул адвокат следователю. – Ведь дело уже закрыто!

– Разве, – обвел следователь гостей растерянным взглядом, – даже расследование убийства остановлено?

– Убийство? – Настал черед адвоката покраснеть.

– Какое убийство? – спросил Халфин.

– Позавчера во дворе галереи Базарова произошло убийство. Найден шофер Ивана Базарова, Мухаммед Курбаев.

– Что вы такое говорите?!

– Вчера, когда вы все были в галерее, там задушили человека.

Некоторое время никто не отвечал.

Наконец Халфин сказал:

– Мы этого Мухаммеда в глаза не видели.

– У нас сведения, что Мухаммед иногда подвозил вас до дома.

Опять тишина.

Потом Халфин сказал:

– Может, вы думаете, я запоминаю шоферов такси?

Чичерин сказал:

– Люди собирались в галерее, подписывали письмо протеста. В этом нет состава преступления. Рекомендую себя в качестве адвоката.

– Хотелось бы уточнить имена тех, кто присутствовал в галерее, – сказал Петр Яковлевич.

– Лучшие люди города! – сказал Халфин. – Записывайте, уважаемый, я диктую. Итак: Халфин Александр Янович, профессор Колумбийского университета. Записали?

– Да, благодарю вас. – Следователь достал блокнот, записал.

– Советолог, кремлинолог, культуролог.

– Это к делу не относится, но я записал.

– Автор девятнадцати монографий.

– Спасибо, записал.

– Продолжаю: Фрумкина, шеф-редактор журнала «Сноб»; Панчиков, предприниматель. Полагаю, слышали эти имена?

– Да, слышал.

– Значит, понимаете, кто у вас на подозрении... – заметил Халфин. – Продолжим. Кесонов, председатель совета директоров концерна «Росвооружение».

– Это все?

– Присутствовал сам Базаров, разумеется. Кавалер ордена Почетного легиона.

– Итого пять человек. – Следователь провел черту в блокноте, подсчитал. – Заметили посторонних?

– Кроме нас никого не было.

– Вы там были от семи часов...

– И до полуночи.

– Чем занимались?

– Подписывали письмо!

– Не отвечайте! Он вас провоцирует! – сказал адвокат.

– Так долго ставили подпись?

– Это не механический процесс, уважаемый! – сказала Фрумкина. – Мы обсуждали события, говорили о политике.

– Можете подтвердить, что ни на минуту не покидали помещения галереи?

– Не поддавайтесь на провокации!

– Мы не скажем вам ни слова.

– Возможно, вы не понимаете. Убийство совершил один из вас. Шофер Мухаммед находился в машине. Машина стояла во внутреннем дворе галереи – доступ с улицы закрыт. Пройти во внутренний двор можно только через помещение, в котором находились вы. Мухаммед задушен. Один из вас его убил.

Никто не ответил. Следователь достал из внутреннего кармана пачку бумажек.

Серый человек изменился: теперь выглядел опасным и хитрым, так преобразуется волк в русских сказках, когда срывает с себя овечью шкуру. Следователь стоял среди чистой публики, поворачивая голову поочередно к каждому гостю, – и всякий гость вздрагивал, видя холодное недоброе лицо.

– Здесь бланки, распишитесь в получении. Это для вас, а это – вам... Вы уведомлены о том, что вам запрещено покидать пределы города. А с понедельника прошу ко мне. У каждого в повестке отмечен час визита... Прошу, – и он протягивал им повестки.

– Разрешите. – К ним приблизился хозяин дома, господин посол. Леон Адольф Леконт шел под руку с мадам Бенуа и, подойдя, заговорил голосом величественным и спокойным: – Напоминаю о том, что вы – мои гости.

– И что? – Серый следователь оскалился на посла, так волки огрызаются на загонщиков.

– Наш дом, – объяснил посол Франции, – рад принимать русских друзей. Рекомендовали включить вас, мсье Щербатов, в лист... предупреждали, что возможны эксцессы.

– Спасибо за приглашение, – сказал серый, – действительно, хотелось всех вместе увидеть.

– Приглашение не дает оснований производить следственные действия на территории Франции, – сказал посол. – Французская Республика таких прав вам не даст.

– У меня письмо к вам, господин посол. – Щербатов протянул конверт.

– Не берите в руки! – вмешался Чичерин.

– Постановление Следственного комитета. Адресовано в посольство Франции, на имя посла.

– В чем дело?

– Постановление о взятии под стражу гражданки Франции Бенуа, проживающей в России, – по подозрению в убийстве.

– Ирен?!

– Следствие располагает данными о том, что гражданка Франции Ирен Бенуа состояла в связи с Мухаммедом Курбаевым, регулярно встречалась с покойным в гостинице «Балчуг». Принимая во внимание дипломатический статус, следствие приняло решение оставить гражданку Бенуа на свободе под личную ответственность господина посла – о чем и сообщается. Процедура дознания будет осуществляться в стандартной форме. Вот повестка для вас, – и серый дал бумажку Ирен.

Ирен Бенуа протянула руку, взяла бумажку. Не произнося ни слова, сняла с плеч платок, скомкала Ямамото; все посмотрели на нее и увидели немолодую женщину, а еще минуту назад возраст был незаметен.

– Ирен! – сказал посол.

– Не надо слов.

– Это – вам, это – вам... – Панчиков свою повестку оттолкнул, а Халфин машинально взял.

Зал молчал. В наступившей тишине Пиганов произнес:

– Это объявление войны.

Подобно иным политикам, Николай Пиганов испытал радость оттого, что есть определенность. Он испытал мрачную радость, сродни той, что охватила Германа фон Эйхгорна, когда в 1914 году генерал-полковник узнал, что на пенсию уйти не придется.

– Что ж, значит, война.

## Глава вторая Барбаросса проснулся

### 1

Сергей Дешков успокоился только когда началась большая война. Он мысли не допускал, что войны не будет. Его жизнь, как это и положено, была суммой всех жизней его родных – и если сложить общий опыт, ответ выходил один: война.

Отец воевал в Польше, друзья уехали воевать в Испанию, сам Дешков служил на Дальнем Востоке, где война колотилась в русскую границу, – но все эти войны были не главные, люди ждали такой войны, чтобы накрыла с головой. И когда говорили: мы, мол, готовимся к войне, – никто не перебивал вопросом: а что, сейчас не война, что ли? Будет последняя, финальная битва с империализмом, так говорили агитаторы и писали газеты – обязательно будет! Сам Сталин считал, что большой войны не избежать. И задачи ставил перед народом соответственно – чтобы были готовы к удару. Так и спрашивали друг у друга: ты готов к труду и обороне? Готов или нет? Сталин спросил и британского министра иностранных дел Энтони Идена, как тот считает: когда было тревожней – накануне 1914-го или теперь? Англичанин как раз объехал Европу с планом «умиротворения», он и с Муссолини встречался, и с Гитлером. И англичанин сказал Сталину, что накануне 1914-го было гораздо тревожней. А Сталин своего гостя поправил; нет, господин Иден, вы глубоко ошибаетесь. Сегодня гораздо тревожней. А Иден, как рассказывают очевидцы, только руками развел: ну что тут возразишь? Поперхнулся чаем с лимоном (ему предложили чай с лимоном и печенье, так принято), а ответить ничего не сумел.

Однако финальную битву постоянно откладывали, сначала западные страны подписали соглашение с Гитлером в Мюнхене, потом русские подписали пакт о дружбе с Германией, и люди поздравляли друг друга с мирным завтрашним днем – и не верили сами себе. Значит мир, да? Обошлось? Можно варенье варить и снимать дачу на лето? И снимали дачи, и варили варенье, и чай пили с вареньем – и не понимали: зачем откладывать войну, если война все равно должна быть? Варенье ели наспех, не чувствуя вкуса.

Когда война отступала, Дешков испытывал разочарование, словно обещанный дождь прошел стороной. Духота не отпускала мир, неужели не понятно, что гроза нужна? Дешков говорил это друзьям, и друзья думали: для него что кровь, что водица – все одно. Не навоевался ты, Дешков? Мало России досталось – снова стрелять хочется?

– Придет еще война, придет! – говорил Дешков, и те, кто слушал его, думали, что он хочет смерти и несчастий. А он просто устал ждать. Война собирается в тучу и движется неуклонно, затягивая горизонт, она грядет, никуда не денется. Когда говорил об этом жене, та спрашивала, не глядя в глаза Дешкову:

– Тебе легче станет, да?

– Почему легче? – удивлялся ее словам Дешков. – Станет проще, и все.

– Проще? Смотри, Сережа, не пожалей об этих словах.

Когда наконец объявили войну, рядом с войной все стало не важно и легко – даже их скверная жизнь выправилась. По радио сказали, что бомбили Киев, и Дешков успокоился. Прежде он плохо спал, а тут прослушал речь Молотова, лег и уснул, и ему хорошо спалось. И сон приснился, а этого не случалось давно. Снилось, что он скачет на коне, куда скачет – непонятно, но это был радостный сон. Наутро пришел соседский мальчик, одноглазый

татарчонок из серых бараков, что наспех сколотили на пустыре. Татарчонок принес повестку, и Дешков потрепал татарчонка по маленькой бритой голове.

– Тебя как зовут, пацан?

– Руслан, – сказал татарчонок, и Дешков засмеялся. Почему-то татары любят имя пушкинского витязя.

– Ну, скажи, Руслан, домой, готовь щит и меч, в бой пойдем!

У Дешкова было отличное настроение. Его призвали в армию, повестка уравнивала его в правах с другими людьми, они связаны общей судьбой. Теперь все пойдет на лад, он свободен, опять станет солдатом. Дешков перестал думать про то, что работу ему не дают, сколько ни проси, – вот, видите, нашлась ему работа. И Дешков сразу забыл, что они с Дашкой спят в проходной комнате, – ясно, что отныне он будет спать в другом месте и жилищный вопрос закрыт. «А чем ты лучше других? – так обычно говорил ему товарищ, Андрей Щербатов. – стыдно тебе, Дешков, жаловаться. Подумаешь, особенный какой! Привык в генеральской квартире жить, в подвале ему тесно. Ничего, будешь спать где велят». Щербатовы жили в соседнем подвале, и у них вовсе не было окон, а у Дешковых все-таки было два слепых оконца, которые можно даже и открыть, понюхать улицу. Правда, Дешковы снимали угол в подвальной комнате у Бобрусовых, а Щербатовым принадлежал весь подвал – хоть гостей собирай на танцы, хоть десятерых рожай. Но в принципе Щербатов был прав, возразить было нечего, разве сказать, что отец никогда не был генералом, но к сути разговора это отношения не имело. Действительно, Дешков привык жить в большой комнате, окнами в парк, а когда этой комнаты не стало, он тосковал по ней как тоскуют по умершим родным. Странное дело: когда вспоминал отца или мать, он боли не испытывал, но стоило подумать про их дом, вспомнить длинные коридоры, высокие комнаты с лепниной под потолком, люстру со звенящими от ветерка стеклянными подвесками – и делалось безнадежно горько. Ему иногда мерещилась его прежняя комната, казалось, что он лежит на своей прежней кровати, а наискосок от него, там, где темнота всего чернее, стоит его стол, а за ним книжные полки. Потом в комнату вползал на четвереньках серый подвальный рассвет, и не было ни стола, ни книжного шкафа, ни окна в парк. А теперь уже ни парк, ни шкаф, ни стол – не нужны больше. Черт с ними.

Получив повестку, Дешков испытал облегчение – и благодарность войне. Войну на Дальнем Востоке он полюбить не успел, солидарности с китайцами не ощущал и, если бы пришлось умирать за свободу Нанкина, сделал бы это без энтузиазма; и потом – не отпустило чувство, что главное для страны решается не здесь. Что проку его родным и друзьям, что проку всему пролетарскому делу и мировой бедноте – если он отдаст жизнь за страну, которая сама про себя не знает, чего хочет. А большую войну он полюбил сразу – за ясность. Они против коммунизма, а мы за коммунизм, что тут еще обсуждать. Они посадили Эрнста Тельмана в тюрьму, убили Либхнехта, расстреляли спартаковцев. Напали на нас – и спасибо им скажем. Сейчас мы с ними разберемся.

Вовремя Гитлер напал, подумал Дешков, а то бы мы с Дашкой совсем рехнулись. Невозможно ждать завтрашнего дня, если он такой же пустой, как день сегодняшний. А если ребенок – что тогда делать? А вдруг она уже беременна? Беременна, наверно, а иначе – отчего такая нервная стала? Но спросить жену об этом Дешков боялся. Он устал оттого, что жена плачет ночами, а он даже не может выяснить причину – что толку спрашивать, если не хочешь слышать ответ. Он устал от своего бессилия перед управдомами и владельцами квартир, где снимал комнаты и углы. Он устал от страха, что придут, отдернут ситцевую занавесочку, и он не сможет защитить жену, потому что от них разве защитишь, и не сможет убежать, потому что куда же из подвала убежишь. Он злился, что не может прогнать от себя Дашку, а надо бы ей давно уехать к родне. Он устал оттого, что негде болеть, нет своей кровати, нет своего стола, нет стула. Они три года маялись по съемным комнатам, и

Дешков ненавидел свое безденежье: он не мог больше думать про жилплощадь и не мог думать про что-то еще, кроме жилплощади. Жена ни разу не упрекнула его в нищей жизни, но оттого жизнь не перестала быть нищей. Если он читал книгу – хотя читал теперь редко, – то прикидывал размер жилплощади героя и ярился на книжных героев, зажавшихся, не знающих своего счастья. Особенно его нервировали «Три мушкетера» – а ведь было время, когда Дюма поднимал настроение. Дешков представлял себе комнату д'Артаньяна на улице Старой голубятни, просторную, судя по всему, комнату, на втором этаже, – и его мучила зависть. Вот д'Артаньяну было куда позвать Констанцию Бонасье, да что там Констанция – он запросто мог пировать у себя в комнате с друзьями, целых четыре взрослых человека могли усестись за его столом. «Трех мушкетеров» только что издали – с отличными иллюстрациями француза Лелуара, там на картинках у д'Артаньяна был такой широкий стол, что даже и в прежней комнате Дешкова такой бы не поместился. Такой стол Дешков видел только в столовой секретаря по партработе. Начиналось с мысли о комнате и столе, потом приходили мысли о работе, которой нет, о зарплате, которой нет, о друзьях, которые пропали. Дешков ночами лежал подле Дашки, прикидывая, куда еще пойти, где просить. Просить противно, да и без толку просить. Ничего, думал он. И у д'Артаньяна бывали полосы невезения. Попрошу еще, от меня не убудет, гордость не в том, чтобы не просить, – гордость в том, чтобы не отчаиваться, когда не дают. Денег не было совсем, снимать комнату было не на что. И работы никакой. И страх, который унижал его, не отступал.

И вдруг подвернулась работа – и судя по всему, надолго. Солидная, стабильная работа. И жилплощадь ему нынче досталась просторная. Теперь ему принадлежала вся земля, та, которую он вытопчет сапогами, а темная проходная комната в полуподвале в Астрадамском проезде – он сразу про нее забыл. И долг владельцу комнаты, жирному Бобрусову, долг, который рос и рос, перестал его беспокоить. После войны деньги отдам, сказал Дешков и посмотрел на Бобрусова своими серыми прозрачными глазами. К нему вернулось спокойствие, утраченное за годы трусливой бесприютной жизни. И просить ни о чем не надо, и ответа не ждешь с колотящимся сердцем. Теперь он снова стал хозяином своей судьбы: как сказал, так и будет. Раньше-то он всегда был такой, раньше он был твердый, и это все знали; а потом стал умолять жирного Бобрусова пустить их с Дашкой в проходную – и сделался жалок и слаб. Бобрусов чувствовал его жалкость и ликовал; жирный Бобрусов держал их строго – чуть что покрикивал, а Дешков кривился и молчал. В первый раз, когда Бобрусов крикнул на Дашу, Дешков едва не ударил его – но прежний Дешков уже давно спрятался, а новый, осторожный Дешков промолчал, и Даша боялась смотреть на мужа, чтобы мужу не стало стыдно. Ничего, потерпим, говорил себе Дешков, доблесть не в гоноре, а доблесть в том, чтобы перетерпеть обиду. Если надо, так я ему ручки поцелую, от меня не убудет. И он улыбался Бобрусову и прятал от Даши глаза.

Повестка поменяла все. Сегодня Бобрусов открыл было свой жирногубый рот, однако присмотрелся к Дешкову да рот свой и закрыл. Дешков опять стал твердым, немногословным, уверенным. Планы понятны, проблемы решаются стремительно. Жена уедет наконец к родне в село Покоево Рязанской области, а ему – вон, до угла дойти да в кузов машины прыгнуть. И забыть проклятый подвал в Астрадамском проезде, и пропади пропадом соседи Полосины и хозяева Бобрусовы – гори они все огнем. Теперь уже не надо униженно просить жирного Бобрусова не заглядывать за ситцевую занавеску, когда собираешься лечь с женой в постель. Теперь уже не придется одалживаться у Полосиных. Разрешите у вас сковородочку на полчаса? К чертовой матери сковородочку Полосиных. Он натянул сапоги, встал, притопнул ногой, чтоб пятка ловчей села на каблук, застегнул наглухо гимнастерку, разгладил складки под ремнем, протянул руку за португеей. И шершавая, старая, отцовская еще, португеея пришлась точно по плечу, словно перепоясался ею тот же самый человек. И даже подтягивать пряжки нигде не пришлось. Дешков похлопал себя по груди и плечам, осаживая

вая сбрую на теле, остался доволен, пристегнул к портупее кобуру. Он нагнулся над цинковым ведром, где они хранили ценные вещи: там на дне лежали четыре Дашкиных кольца с драгоценными камнями, достались от бабки-китайки, и отцовский кольт. То была память о Польском походе, о кавалерийском корпусе легендарного Гая, о боях с Пилсудским, о командарме Тухачевском, о тамбовских боях, о Кронштадтском восстании – на рукоятке револьвера выгравирована наградная надпись; наградное, бесценное оружие, а надпись – опасная. Последние годы он прятал револьвер – а сегодня достал.

Вообще наградного оружия было выдано мало: так называемое «золотое оружие», шашки с гравировкой получили Буденный, сам Тухачевский и еще несколько командиров армий, повлиявших на ход войны, список награжденных утверждался Президиумом ВЦИКа. Только после взятия Перекопа ввели огнестрельное наградное оружие, и наградили им человек двадцать – никому оно счастья не принесло, все были расстреляны спустя двадцать лет.

Отец Дешкова, Григорий, во время Первой мировой был таким же поручиком, как и Тухачевский, в лейб-гвардии Семеновском полку и оставался неподалеку от командарма (а потом и маршала) вплоть до ареста. Его военная карьера практически в точности воспроизвела карьеру самоуверенного Тухачевского, которого Пилсудский называл доктринером, а многие – «Бонапартом». Григорий Дешков не был, в отличие от своего товарища, в германском плену, но рассказы Тухачевского о пяти побегах из германских тюрем пригодились ему в плену польском. Григорий Дешков не сделал столь блистательной карьеры, но, впрочем, он и не говорил никогда, в отличие от Тухачевского, что покончит с собой, если к тридцати не станет генералом. Служил исправно, прошел с Тухачевским все повороты революционных лет.

Армия Тухачевского в двадцатом году откатилась назад, не взяв с разбегу Варшаву; Ленин торопил, требовал «бешеного ускорения наступления на Польшу», и сам командарм считал, что момент упускать нельзя, «надо вырвать победу». Тухачевский был теоретиком так называемой наступательной войны, атаковать надлежало «на всю глубину вражеских линий обороны», принцип, не свойственный практике русской армии и трудно применимый в реальности. Киев у поляков отбили, на этом удачи кончились. Планировали взять Варшаву не позднее августа – но за август 5-я армия Сикорского разбила 4-ю армию Тухачевского, и Тухачевский приказал отступать. Кавалерийский корпус Гая пропал начисто, сгинул в польских лагерях; Григорий Дешков угодил в концентрационный лагерь Тухоль. Поезда, забитые полуголыми людьми, тащились плоскими польскими полями, развозили остатки армии Тухачевского по лагерям – от Брест-Литовска до Стшалково. На станциях к вагонам подходили прилично одетые гражданские паны и тыкали в пленных красноармейцев зонтиками и стеками. В вагоне с пленными Григорий был прижат вплотную к кавалеристу Валуеву и комиссару Гиндину. Ни тот ни другой не были профессиональными военными – Валуев был из тамбовских крестьян, а еврей Гиндин – учителем. Говорить им друг с другом прежде не приходилось, а тут разговорились. Валуев проклинал комиссаров, втянувших его, крестьянина, в смертельный поход, Гиндин рассказывал о Троцком, а Григорий их мирил. Они мочились друг другу на ноги, так и ехали, прижавшись телом к телу. Потом их привезли на станцию, вагон обступили польские легионеры.

– Это ведь мы по родной России едем, – сказал Валуев. – Нашенская земля, российская. На хрена надо было панов освобождать год назад? Вот откуда хлеб надо было везти в Питер! А не из Моршанска... Грамотеи, такие хлебные места прозяпили! А от них мы с тобой спасибо дождались. Вот она, благодарность панская.

– Подожди, Валуев, потерпи. Теперь не будет границ, – ответил Гиндин, – скоро везде будет одна большая Республика Советов. И наций не будет тоже.

– Тем более, на хрена же мы Россию делили, на кой ляд этим скотам волю давали?

– Лев Давидович Троцкий призывает нас быть беспощадными в бою с классовыми врагами, но не с народом! Нельзя винить народ, – ответил гордый Гиндин. – Я, например, горжусь, что польский батрак свободен!

– Нашел чем гордиться, – сказал Валуев. – А Троцкий твой... – Валуев плюнул, и плевок попал Гиндину на грудь; тесно стояли.

Их привезли в лагерь Тухоль, где пленных красноармейцев держали в жестяных ангарах, покрывавшихся льдом в холода. Люди стояли по щиколотку в тухлой воде, потому что крыши были дырявыми, в холодные дни вода смерзалась в желтую корку, а в теплую погоду – таяла, тогда в бараке стояла вонь. Еды не давали никакой, пленные ели сено и траву, в день умирали сначала по пять человек, потом больше. Через месяц начался тиф, смертей стало гуще – за полгода умерло около трех тысяч. Рассказывали, что в лагере Стшалково еще хуже. В живых от революционной конницы 4-й армии осталось чуть больше половины, в те годы мертвых никто не считал – а когда посчитали потом, вышло, что тридцать тысяч красноармейцев сгинули в польских лагерях за два года. А некоторые говорили: семьдесят тысяч. Валуев сказал Григорию Дешкову, что ведет счет – каким образом, Дешков не понял, – но вскоре Валуев сбился со счета и подытожил: много народу померло. Русских пленных даже не убивали, просто заморили.

В польском лагере убивали только в первые дни, сначала расстреляли двести пятьдесят человек, выборочно, а человек сорок зарубили. Ходил между пленными полный польский офицер под руку с французским пастором, заглядывали в лица, искали комиссаров и евреев.

– А ты жид? – придирчиво спрашивал польский хорунжий и рукоятью нагайки приподнимал за подбородок голову заключенного, чтобы рассмотреть его профиль. – Думаю я, что ты жид.

– Русский я, крестьянин, – сказал Валуев, и товарищ Гиндин сказал ему:

– Стыдно тебе, Валуев, ты красный кавалерист.

И польские офицеры смеялись над ними. Тем, кто укажет на жидов, обещали дать консервы, но никто никого не выдал – однако в 5-й польской армии находились хорошие физиономисты. Комиссаров расстреляли сразу, потом пустили в рубку евреев, рослый легионер стоял подле ямы и рубил евреев сплеча, кому разрубал голову, кого разваливал до пояса, кому отсекал руку: и мертвые, и раненые падали в одну яму. Гиндина поставили у ямы, и Валуев отвел глаза, чтобы не видеть лица комиссара Гиндина.

– Ну, скажи мне что-нибудь, жид, – сказал легионер, раскручивая руку для хорошего удара. – Ты пришел сюда захватить мою родину, да, жид?

– Я скажу тебе, что ты контрреволюционный элемент, – сказал Гиндин, морщась и белея от страха. – Я скажу, что тебе будет очень стыдно перед польскими рабочими и крестьянами!

Легионер отмахнул Гиндину руку, кровь ударила в воздух широкой красной полосой, тело Гиндина задергалось и упало вниз, в яму. Валуеву показалось, что он слышит, как падает тело Гиндина, но слышать ничего он не мог – загремели барабаны. Пленные смотрели, как убивают евреев и комиссаров, и молчали. Потом их увели в барак.

Так, в бараке, с водой на полу, отец прожил пять месяцев – и бежал. Валуев, который бежал вместе с ним, отстал, отец дошел один. Он прошел полями Украину и вышел к красным частям, хромя на обмороженную ногу, и его представили к награде, которую он, впрочем, в тот год не получил. Отмороженную ногу хотели ампутировать, но отец ногу разработал, спас от врачей, опять сел в седло.

В тридцатые годы он уже был преподавателем в Военной академии имени Фрунзе, но прежде чем оказаться в академии, успел повоевать на Перекопе, а потом командовал штурмовым отрядом в Кронштадте в двадцать первом. Кронштадтское восстание поразило бы его, если бы оставалось время испытывать такие сильные чувства; воевали всегда, с одного поля

боя его посылали на другое, горела вся страна, и когда засыпал после тяжелого дня, он не видел снов. Кавалерия вошла в Кронштадт по телам революционных матросов – но обдумать это времени не было. По городу висели транспаранты «Долой самодержавие коммунистов» – и моряки-краснофлотцы встречали Красную Армию Тухачевского шрапнелью. Первый штурм был отбит, тогда Троцкий с Тухачевским бросили на кронштадтский лед новые полки. Красноармейцы Минского и Невельского полков стрелять отказывались, братались с матросами, бросали винтовки. Сорок красноармейцев из Минского и тридцать из Невельского расстреляли в воспитательных целях – судили здесь же, на льду. Шли опять в атаку, наткнулись на шрапнель. «Матросня обороняется», – доложил командарм Тухачевский, получил приказ взять город, вперед пустил славную кавалерию – и пошли на рысях по льду Финского залива, и красные командиры врубались в толпу рабочих и матросов, искромсали колыбель революции, изрубили в лапшу ее повитух. В следующие дни шли расстрелы – и Григорий Дешков, который квартировал в центре, ночами слышал, как возле гавани стреляют залпами, а потом одиночными выстрелами добивают раненых. Некоторых хоронили в общих могилах, но большинство трупов везли на подводах в старую гавань и вываливали за мол, в море. Жены расстрелянных рабочих говорили, что если бы из Кронштадта не отозвали Федора Раскольников, смертоубийства бы не было, он бы не допустил.

Председатель Кронштадтского совета, большевистский сановник, остроумный и вальяжный Федор Раскольников выехал из города до штурма – именно он и довел рабочих до исступления своим роскошным образом жизни, барским хамством и поэтическим вольнодумством. Поэтический интеллигентный салон Раскольниковых был местом, куда хаживали и будущие идеологи восстания, и те, кто их расстреливал. Раскольников предвосхищал позднее советское барство, так вели себя ополоумевшие от вседозволенности члены Политбюро, да и то не все. Апартаменты Расколькова лопались от конфискованных картин и статуй, он ездил по городу в дорогой машине «Майбах» с открытым верхом, а его супруга, дама прогрессивной ориентации, возлюбленная расстрелянного по «Таганцевскому делу» поэта Гумилева, красавица Лариса Рейснер, щеголяла в шитых золотом халатах. Раскольниковы устраивали приемы – большевистские журфиксы, на которых Лариса Рейснер музицировала, а Федор Раскольников пил коньяк и дебатировал философские вопросы. Раскольников уехал, оставив город на растерзание правительственным войскам, а несколько лет спустя эмигрировал и потряс общественность открытым письмом Сталину, гневным документом, в котором едва ли не впервые назвал Отца народов – тираном и убийцей. Раскольников был казнокрад и мерзавец – но, как это заведено со времен Курбского и вплоть до Березовского, именно бандиты и жулики играют в стране роль обличителей режима, и как раз у сановных воров получается убедительно перечислить грехи власти. Раскольников благополучно удрал, а штурмовые колонны вошли в город революционных матросов – и третью штурмовую колонну вел Григорий Дешков. Тысячу матросов положили сразу – и заняли город; около десяти тысяч бежали в Финляндию – плыли на чем придется, вываливали в стылую воду ялики и набивались по шестеро в узкие моторки. Беглецов не преследовали: и без них хватало пленных. Дешков ехал на каурой кобыле по Якорной площади и смотрел, как разоряют матросов. На мартовскую бурую грязь стелили простыни и валили на простыни беспорядочной кучей винтовки и кортики офицеров. Площадь была черной от бушлатов, небо – черным от туч и дыма, горели верфи, горели форты крепости. «Теперь, большевик, тебе расстрелять нас придется! – яростно крикнул матрос. – А Степана Петриченко тебе все равно не достать, он в Финляндию ушел!» Кто такой Петриченко, всадник не знал, но ответил: «Я твоего Петриченко и в Финляндии найду, не волнуйся, братишка, он от меня не спрячется». Матрос издевательски засмеялся, а Дешков повторил: «Я тебе обещаю, братишка, что твоего Петриченко найду и пристрелю». – «Меня сначала! Меня!» – кричал матрос. Было решено

расстреливать только зачинщиков, потом уточнили: зачинщиков и активистов. Таких набралось больше двух тысяч человек.

Командарм Тухачевский назвал штурм Кронштадтской крепости «гастролью» – и председатель РВС Троцкий, человек артистический, подхватил метафору. «Он же у нас скрипач, – написал Троцкий Каменеву, – и в Кронштадте сыграл первую скрипку». Тухачевский действительно любил музицировать и недурно играл на скрипке – для людей военных то был необычный талант, разве что германский Гейдрих также отличался виртуозной скрипичной игрой. После падения Кронштадта Тухачевский вручил Григорию Дешкову наградной кольт с надписью «За личную храбрость, проявленную при победоносном шествии Красной Армии, за доблесть в боях за Отечество». Почетное огнестрельное оружие являлось как бы высшей наградой – и вручали его командирам армий и генералам. Исключение сделали для командиров штурмовых колонн, участвовавших в подавлении Кронштадтского восстания. Правозащитник нашего века высмеял бы двусмысленную надпись – за какое именно Отечество шли бои? – однако будем последовательны: и Суворову дали фельдмаршала вовсе не за Измаил, а за подавление Варшавского восстания.

Немедленно вслед за усмирением Кронштадта командарм Тухачевский был послан на подавление Тамбовского восстания. Ленин писал: «Надо принять архиэнергичные меры! Срочно!» – так что времени на отдых ни у командарма, ни у Григория Дешкова не было. X съезд ВКП(б) был посвящен проблемам, вызванным военным коммунизмом, Бухарин и Луначарский ездили в Тамбов, они там на губернском съезде дебатировали вопросы продразверстки, а Ленин тем временем принимал в Кремле тамбовскую делегацию: «наберитесь терпения» и «берите всю полноту власти и разделите ее с рабочими!». Нужные слова были сказаны, и Ленин даже предложил выборным мужичкам писать ему в Кремль: он-де займется, если уж совсем припрет, – но голода это не остановило. Мужиков не вдохновило предложение разделить власть с рабочими: у деревни уже отнимали хлеб для нужд этих самых рабочих – зачем же в дополнение к этому с рабочими еще и правами делиться? Впрочем (и это оскорбило деревню более всего), то, что изымалось у деревни, не всегда доходило до города – с хлебом в 20-е годы обстояло точно так же, как и девяносто лет спустя с бюджетными деньгами, которые выделялись на строительство дорог и больниц; хлеба и денег брали много – а по адресу доходило мало. Предположение, будто Ленин и Луначарский слопали по дороге весь урожай, гуляло по Тамбовщине – но вряд ли вдвоем народные комиссары могли умять такое количество зерна. Воровство, диверсия или административная ошибка – решение вопроса, как, впрочем, и всегда, оставили за кавалерией. Теперь Троцкий кричал командарму: «Срочно! Слышите, что Ильич говорит?»

Утром 6 мая 1921 года командарм прибыл в Тамбов, он был назначен «единоличным командующим войсками». Вместе с Тухачевским прибыли Какурин, Котовский, Уборевич, Дешков – гордость Красной Армии, а также Ягода. Тухачевский вошел в здание штаба, Котовский с Уборевичем шли за ним, Дешков с Какуриным – второй парой. Остановились в дверях, даже садиться не стали. Тухачевский выслушал доклад Корнева, бывшего командующего тамбовскими войсками, заступившего на это место после неудач Редзько, отозванного полгода назад. Восстание расплозлось по районам, захватило территорию, равную площади небольшого государства – Албании например; правительственные войска были биты. Со времен Пугачева до такого не доходило, Тухачевский чувствовал себя Суворовым. Командарм послушал про «союз трудового крестьянства», про бой у деревни Криуша, про суды над коммунистами. Корнев говорил путано и вязко, повторялся, не по-военному говорил, а Тухачевский не перебивал доклад, но и не вникал особенно. Смотрел на Корнева круглыми глазами, спросил зачем-то про пулеметы, хотя было понятно, что Корнев не знает ничего. Какое количество пулеметов у противника? А полевых орудий? Не знаете? Затем продиктовал телеграмму заместителю председателя Реввоенсовета Склянскому. Тухачевский дикто-

вал телеграмму, отчетливо выговаривая слова, так, чтобы Корнев и прочие офицеры расслышали, что их работа не имеет никакого смысла и в профессиональном отношении они – нули. Что с ними сделают, офицеры не знали, но имели основание предположить худшее. Через неделю, вечером 12 мая, командарм издал свой знаменитый приказ № 130, в котором предписывал расстреливать заложников и саботажников, высылать семьи укрывателей в отдаленные районы РСФСР, сжигать так называемые бандитские дома. Тамбовские деревни вспыхнули, и Антонов вышел с двумя тысячами сабель к деревне Елань. На краю леса полоскалось по ветру красное знамя с неразборчивыми буквами – Тухачевский объяснил Дешкову, что на полотнище написано: «Вся власть крестьянам».

– У них еще бывает эсерский лозунг «В борьбе обрешь ты право свое», – сказал командарм и отдал бинокль: просто протянул руку в сторону, а штабные кинулись подхватить.

У повстанцев были свои знамена и полки, были даже знаки различия на рукавах и лацканах – полная имитация регулярной армии. Но это была крестьянская армия.

– Долго готовились, – сказал Тухачевский. – Хотят воли, без сомнения. Как думаешь, может, отпустить? Будет Тамбовская хлебная республика. Торговать станут с Москвой, лес на трактора менять. Беда с крестьянскими войнами – идти мужикам некуда, а в лесу я их достану.

Командарм говорил так, словно в его власти было отпустить или не отпустить мужиков – однако был приказ Кремля, и Троцкий передал его Склянскому, Антонову-Овсенко и Тухачевскому. Впрочем, и без всякого приказа командарм выполнил бы свой долг.

– Чистый Томас Мюнцер, – сказал Тухачевский Дешкову, – германские крестьянские войны. Будь проклят этот Ренессанс, все зло от попов и крестьян.

Командарм любил историю, много читал, но в коллизиях Ренессанса и северного Возрождения путался. Он был уверен, что дефекты в регулировании цивилизации пошли с Возрождения, крестьянские бунты считал производным от вольности городов. Религию командарм тоже обвинял.

– Все это от Лютера идет, все зло от попов, если вдуматься.

– Лютер, кстати, ненавидел Мюнцера, – сказал командарму Григорий Дешков. Он тоже много и беспорядочно читал, военные тех лет пополняли образование как могли и где придется.

– Спать пора, – сказал Тухачевский, – утром мы этих мюнцеров потрогаем.

Григорий Дешков успел до боя прочесть листовку, положенную кем-то на стол в горнице, – он даже догадывался, кем именно: хозяйкин сын был мал, чтобы воевать, но смотрел на красноармейцев злым глазом.

– Это откуда? – спросил мальчика Дешков, разглаживая на колене листок со словами: «Братья красноармейцы! С кем воюете вы! Опомнитесь! Это не банда, а восстание крестьян! Вместе сбросим эту муку и устроим по-хорошему жизнь свою! Коммунисты-жиды нас стравили!» – Это ты принес? – спросил Григорий Дешков. Парнишка молчал. – Больше так не делай, – сказал ему Дешков, – тебя расстреляют. – Он порвал листовку и лег на лавку, положив кулак под голову и свесив с лавки больную ногу. – У вас тут, погляжу, и типография есть, и армия есть... полки, командиры... Иди спрячься, завтра плохой день.

Спать оставалось три часа; наутро командарм Тухачевский врубился во 2-ю партизанскую армию Тамбовского края и погнал в лес 4-й и 14-й полки, а полк, поименованный Пахотно-Угловским, истребил начисто. Конники Тухачевского рассекали антоновский фронт, а с фланга по крестьянам стреляли пушки бронепоезда: командарм пришел подготовленным.

Два месяца Григорий Дешков провел в тамбовских лесах, гонясь за мужиками. Восстание расползлось, как лесной пожар – и образ лесного пожара был тем нагляднее, что Васька Карась, приближенный к Антонову лихой человек, придумал распарывать больше-

викам животы и набивать соломой – а солому поджигать. И безумные горящие факелы метались по лесу, и горел подлесок, и страшной правдой обернулся большевистский лозунг «Из искры возгорится пламя». Горели крестьянские избы: согласно приказу командарма деревни жгли. За приказом № 130 командарм издал приказ № 171, еще того хлеще: человека, не назвавшего свое имя, расстреливать на месте без суда; семьи, укрывающие имущество бандитов, расстреливать на месте без суда; дома сжигать и разбирать. Крестьяне Тамбовской губернии не располагали специальным имуществом, каковое можно было бы хранить в потайном месте, а все их достояние сводилось к одежде и хозяйственной утвари – и приказ № 171 толковали произвольно. Расстрелов было много, даже в Москве испугались, взволнованный Рыков написал Троцкому, что это уже слишком, не перегнуть бы палку. Но деревни вытаптывали и дома сжигали, мужики уходили в леса, где артиллерия пройти не могла, а коннице было трудно проехать. Однако входили и в леса. В лесу подле села Туголуково (сожженного дотла) Дешков столкнулся с бывшим кавалеристом Валуевым, который накинул ему ремень на шею и стал душить, но Дешков изловчился и пырнул его саблей под ребро.

– Паны меня не зарезали, так свой русак зарезал, – захрипел Валуев, ползая в ногах у бывшего командира. – На своей земле умираю, на тамбовской.

Он хрипел и ел землю, а земля вместе с кровью толчками выходила обратно.

Бои с крестьянами затянулись: поди вымани мужичков из лесу – тогда командарм приказал стрелять химическими снарядами, пустить в глубь лесов отравляющие газы. Это был не такой действенный газ, как «Циклон Б», который чуть позже внедрили немцы для удушения евреев, и не такой могучий, как иприт, который разрешил применять Черчилль в Первую мировую войну, но и этого газа хватило. Впрочем, как говаривал упомянутый Черчилль, «я твердо выступаю за применение отравляющих веществ против нецивилизованных племен» – а кто бы назвал тамбовских крестьян цивилизованными? В районе озера Кипец красный командарм Тухачевский воспользовался той же логикой. В лесах мерли от газов, выходили на поляны, бунтовщиков вязали, кого расстреливали, кого отправляли в Сибирь. Провели перепись, за отказ назваться – расстрел на месте. Семью Валуевых – трех уцелевших братьев, мать, невесток, детей – затолкали в вагон, Григорий Дешков, по случайному совпадению, командовал отправкой эшелона, который увозил их в лагерь.

– Валуевы?

– Да, – крестьянин поднял на Григория Дешкова блеклые глаза, а женщины потянули к себе детей – прятать, если будут стрелять. – Деточек не трогайте.

– Проходи давай. Дай им шинель, детей укрыть, – велел Дешков ординарцу. Шинель, впрочем, не дали – не было лишней шинели.

Тем история с Тамбовским восстанием и закончилась. Сам Антонов скрылся, но ненадолго – его обнаружили в одной из деревень и убили в перестрелке.

Всего этого Сергей Дешков из рассказов отца не знал, отец говорил только то, что могло помочь воспитанию, боевой биографией не делился. И как прошел Украину на обмороженной ноге, не рассказывал, и как душил в Тухольском лагере пана Сухомлинского, и про тамбовские леса он не говорил. Жизнь их семьи в тридцатые годы наладилась, отец преподавал в Военной академии, им дали просторную квартиру возле Тимирязевского парка.

Квартиру посещали военные, те, кто считался цветом Красной Армии. Однажды Дешков слушал отцовский разговор с замнаркома обороны, Яков Гамарник был зван к ним на обед в тридцать шестом году. Сергей Дешков приехал как раз на побывку из Хабаровска – ему уже было двадцать шесть, он был в чине капитана, служил в сформированном Тухачевским и Гамарником Хабаровском батальоне, механизированном образцовом подразделении. Готовились к войне с Японией, осваивали новую технику – Дешков вошел в столовую, отрапортовал Гамарнику, приготовился к докладу, а генерал махнул рукой – мол, садись к столу, капитан, мы тут с твоим отцом выпиваем, махни и ты. Красные командиры в те годы пили

мало, отец презрительно говорил, что белые генералы пропили Россию, а Ледяной поход потому назывался Ледяным, что водка у Корнилова постоянно была на льду. Но в праздники в доме Дешковых две рюмки выпивали – не больше, разумеется. Сергей Дешков сел с краю, возле матери, молчал, слушал старших.

Говорили о польском походе. В который раз поминали, что Тухачевский хотел брать Варшаву с марша, две недели кряду штурмовал город и отступал потом аж до Минска.

– Вины персональной здесь нет, – сказал Гамарник, – все отличились...

– Не простит он ему Варшаву никогда, – сказал отец.

Военные переглянулись: имелось в виду, что за варшавское поражение наказание понес Сталин – был освобожден Троцким от должности члена Реввоенсовета фронта за саботаж.

– Пусть на Пилсудского сердится.

Несчастливая (в глазах некоторых) и чванливая (в глазах многих) Польша то появлялась на карте, то исчезала, словно и не было вовсе такой страны. Сегодня она опять возникла, и от нее ждали беды. Польша заявляла претензии всем: захватывала Вильно, требовала Верхнюю Силезию, шла на Украину, была готова взять часть Чехословакии. Отец рассказывал генералу, как они бежали из Тухоля:

– Задушили поручика Сухомлинского – задушили и ушли. Жаль, Владислава Сикорского на пути не встретили, – добавил отец, – вот кто зверь. Сухомлинский как раз неплохой был пан. Однажды мне хлеб дал. Почти без плесени.

– Пан Сикорский еще себя покажет, – сказал тогда генерал Гамарник. – Время пройдет, мы еще с этим паном хлебнем. – Не дожидаясь этого времени, он хлебнул без пана, опрокинул в себя рюмку, похвалил холодец. – Сама делала, Татьяна?

– Нет, Таня так не может, это Глебовна исполняла, – засмеялся отец.

Глебовна была прислуга, прожившая с ними пятнадцать лет, отец считал ее членом семьи.

За столом в тот вечер поговорили и о «Стальном пакте» – об «Антикоминтерновском союзе» Германии, Италии и Японии.

– Проблема с Польши началась, – сказал отец, – с Вислы пошло криво. Если бы взяли Варшаву, мир уже был бы наш. Сердце Европы.

– Что теперь говорить! – с сердцем, с досадой сказал Гамарник и рюмку махнул, заглушая сердечную муку – свою и польскую. Если и впрямь Польша являлась сердцем Европы, сердце это переживало бесспорный инфаркт.

– Верно, говорить не о чем. Не пошла революция далеко. А может быть, – тут отец погладил больное колено, – а может быть, и хорошо, что дальше не пошла. С польскими крестьянами мы бы не договорились. Революция пролетарская, крестьянину в ней делать нечего.

– Вот оно что, – сказал Гамарник ехидно, в бороду черную ухмыльнулся. – Значит, не нашли хорошей работы крестьянину?

– Выходит так.

– Скоро война, – сказал Гамарник, – дело всем найдется. И крестьянину на войне будет чем заняться.

– Будет война? – сказал отец. – Разве война когда-нибудь кончалась? Мы с тобой всегда с войны на войну. Ты дома часто обедал?

– Я говорю как генерал и член Совета обороны, мы сегодня обозначили линии фронтов, можно видеть карту, – сказал Гамарник. – Наконец можно! Это и есть война, когда я могу составить план кампании и просчитать стратегию удара. Я могу тебе приказать: бери эскадрон, Дешков, и скачи на правый фланг – потому что этот правый фланг есть.

– Правый фланг и раньше был.

– Был фланг – на депеше штабной нарисованный. А поедешь ты на этот правый фланг, так до него двести верст степи, которую не посчитали, потому что как степь посчитать? Прوماхнуть на сто верст легко – она же плоская, сволочь, примет в ней нету. И тyani обозы, и гони фуры. Это уже не война, а вопрос, извини, снабжения и выживания в труднодоступной местности.

– Война и есть вопрос выживания.

– Что ж ты меня на слове ловишь, ты же не комиссар! Армия воюет с армией, и генералу есть работа. Сам ведь понимаешь, что я имею в виду! Конечно, когда в тебя из леса шмаляют мужички, это тоже война, но я так воевать не умею. И за двадцать лет не научился. По триста верст непонятной земли – от фланга до фланга. Лес темный – а кто в нем, не поймешь никогда. И чья это земля – ни в одном штабе тебе не скажут.

– Однако так воевали двадцать лет подряд, – сказал отец, – привыкли.

– Концерты давать привыкли! Тухачевский от адмирала Колчака, из Сибири – на гастроли летел на Кавказ, добивать Деникина. Выступит, аплодисменты послушает, а там еще Врангель в Севастополе ждет, а потом надо срочно на Западный фронт, к Пилсудскому, а потом в Кронштадте гастроль, в Тамбове гастроль. Миша везде сыграет – он же гастролер! Только Миша Тухачевский не знает, что происходит между Уралом и Кавказом. Он, кроме концертных залов, ничего не видел! И спросит – ему не доложат! Разведку пошлет – а разведка ни черта не поймет. Сунешься в лес, а тебя из-за осины грохнут. В избу зайдешь воды напиться, ножом пырнут. Тылы, вашу мать! Сегодня, по крайней мере, ясно, кто свои, кто чужие. Так воевать я согласен.

– Так, конечно, проще, – сказал отец. – У Гудериана небось с тылами порядок.

– У Гудериана с тылами порядок был всегда. В Европе воевать что на рыбалку ходить.

– Тылы крепкие, – сказал отец, – потому что в Европе крестьянин со своими хозяевами заодно. Во всяком случае, в отношении к нам у них разногласий не было. Крестьяне польские нас больше ненавидели, чем белополяки.

– Хочешь знать, что мы делали последние двадцать лет? – сказал Гамарник. – Коллективизация, индустриализация – непонятные многим слова. А надо сказать проще. Мы выстраивали работу тыла. Вот простой ответ на все вопросы. Когда мне говорят: почему партия приказала то, почему партия приказала это – я всегда отвечаю: потому что тылы нужны! Когда мне говорят: надо механизировать армию (ну ты знаешь, кто у нас спец по механизации), когда мне говорят: поднять образование офицерского состава! – я всегда отвечаю: наладьте работу тыла, орлы. Тыл должен быть однородной структурой! – Это было любимое выражение Гамарника, словами «однородная структура» начальник Политуправления РККА обозначал понятную ему ситуацию. – Однородная структура нужна! Работают, дружат, помогают фронту. Точка. Как я поеду воевать, если мне в обоз завтра картошку не дошлют? И не подразверсткой работу тыла надо решать.

– Так мы же крестьянина в окоп гнали – а его, голожопого, на трактор надо сажать, – сказал отец.

– В окоп не мы его гнали, – поправил Гамарник, – в окоп его в четырнадцатом году поместили, с тех пор он там и сидит. Только окоп этот уже лопухом порос.

– А все потому, – сказал отец генералу Гамарнику, – что мы с белыми воевали, а никогда не признавали третьей силы и даже не считали, что третья сила есть.

– Атаманы есть, – согласился Гамарник. – Атаманы бандитские.

– Атаманы тоже были. Но разве в атаманах дело? В Симбирской губернии, на родине вождя, мужики шалят – а мужик Минеев, он что, атаман? Антонов поднимает тамбовских, он – атаман? Чистополь вспомни, Уфу. Армия Черного орла, помнишь? – Отец засмеялся, пощелкал пальцами. – Ты, поди, и не участвовал тогда. И я не доехал; без Тухачевского обошлись, своими силами. А Серов в Поволжье? Это не Петлюра, это тебе не атаманы.

– Кулацкие хозяйства. Беднота на нашей стороне.

– Какая беднота, Яша? Рабочая или крестьянская? Мы с тобой бедноту видели редко. Ты в деревне жил? Землю пахал?

– Говоришь как эсер, – засмеялся Гамарник. В устах Гамарника обвинение звучало грозно: именно Ян Гамарник связывал Наркомат обороны с органами безопасности. – Ты как эсер не говори.

– Говорю как эсер, который честно служит РСФСР, – сказал отец. – И что толку клеить ярлыки? Мы мужичков записали в бандитов зеленых, а зря записали. Красные большевики – это я понимаю, белые недобитки – тоже понятно, а крестьяне – они совсем не зеленые. Крестьяне – они от века крестьяне. При Екатерине такие же были, так же за топоры хватались. Разве Пугачев зеленый? Какой он тебе зеленый?

– СТК, Союз трудового крестьянства – чем от пугачевщины отличается? Один черт, с топором. Зеленые они, конечно, – сказал Гамарник.

– Мужик будет такого цвета, в какой его покрасят, невелика проблема. И не в белых было дело. Белым, если хочешь знать, я бы выгородил коридор до Севастополя и дал месяц сроку – чтобы с барахлом выметались. А вот мужика ты в Севастополь не пошлешь. Его на корабль Врангель не посадит.

– А ведь ты повторяешь за Зиновьевым и оппозицией, – сказал тогда Гамарник. – И проблема эта партией уже решена.

– При чем тут Зиновьев?

– Отрицаешь основной закон пролетарской диктатуры – смычку крестьянства с пролетариатом. При гегемонии пролетариата! – и Гамарник засмеялся.

– Ну, эти придумают! Смычка! – и отец засмеялся тоже.

Военные презирали политику. В семье Дешковых политиков называли словом «эти» и хмыкали, когда пересказывали, что «эти» там у себя решили. Отец Дешкова любил историю и даже стал собирать книги по истории, в квартире появились книжные шкафы – Цезарь, Плиний, Тацит, – но вот политику он не уважал совсем. Сыну однажды объяснил разницу между историей и политикой – Сергею было почти двадцать лет, юноша собирался в армию, и предполагалось, что поедет на восток; отец взял его на прогулку и на прогулке объяснил, как устроен мир. Они шли по мокрому осеннему парку, и отец говорил так:

– История, как и война, похожа на уравнение. Надо написать ответ. Ты можешь решить уравнение, только исходя из данных, которые в уравнении приведены. Понимаешь?

– Не очень.

– Надо победить. Есть три полка пехоты, два эскадрона кавалерии, три гаубицы – и еще есть овраг, болото, поле. И город – с другой стороны поля. Все, больше ничего нету. Имеется противник, численность противника является величиной  $икс$ . Действия противника – еще один  $икс$ . Задача: перейти болото, пересечь поле, взять город. Или, например, имеется история России: обычаи, вера, народ, земля, цари. Столько-то русских, столько башкир, столько татар, такая вот почва, такие выходы к морям, такие реки, такой лес, известно, какие горы – всего много, но больше ничего нет. Средиземного моря нет, Индии нет, тропиков нет, урожаи низкие, заводов мало, долгая зима. Вера – как на Западе, но не совсем. Страна огромная, легко развалится на части. Долго собирали, потерять можно быстро. Три четверти страны – в деревнях. Порядка нет. Общих планов нет. Надо строить единую процветающую страну. Такие условия задачи. Понимаешь?

– Можно исходить только из того, что есть?

– Как в математике. Перед тобой уравнение – дроби, числитель-знаменатель, числа, плюсы-минусы, корни,  $иксы$  имеются, как без них? И надо решить. Ты не можешь взять число из другого уравнения. И не можешь отменить то число, которое уже имеется. От боя нельзя отказаться, местность нельзя поменять. Поле есть – значит, требуется учесть поле,

открытое пространство, там подстрелят, пока дойдешь до города. Ты не можешь из кармана вынуть самолеты. У тебя есть только пехота и кавалерия. А перед полем болота, кони не пройдут. Ты понимаешь задачу?

– Понимаю. А что бы сделал Тухачевский?

Отец засмеялся, осмотрел парк, словно это было будущее поле боя. На соседней с ними дорожке жгли прелые листья. Листьев было много, высокие бурые кучи – от каждой поднималась тонкая струйка сырого сладкого дыма, – и дым, устремившись к небу, на полпути сворачивал, стелился параллельно земле, таял между стволами. Прежде парк был усадьбой графов Разумовских, посадки были старые – толстые липы и высокие дубы. Усадьба сохранилась, некоторые здания стояли заколоченные, в остальных разместилась Сельскохозяйственная академия.

– Здесь Наполеон останавливался. Вот в том флигеле, если правду говорят, – некстати сказал отец. – Во-о-он его окошко, смотри, с занавеской! – и засмеялся, когда Сергей стал вглядываться. – До Москвы Бонапарт дошел. Ставка была в этом вот месте. Здесь он жил и думал, что выиграл войну. Просто он учел не все части уравнения. Решил половину, а другую половину решать не стал.

– Так что бы сделал Тухачевский? Вот поле, надо поле перейти. Самолетов нет. Что дальше?

– Тухачевский потребовал бы самолеты. Написал бы четкое обоснование – почему требуетсякрытие с воздуха. Ему бы отказали. Самолетов нет, ваша задача решить проблему без самолетов. Ему бы велели не валять дурака, вспомнить Польшу и действовать осмотрительно, но город взять к завтрашнему утру.

– И что бы он сделал?

– Как – что? Взял бы город, конечно.

– Как?

– Он командарм, значит, обязан решить задачу. А как – он в этот момент еще не знает. Вот, например, русская история. В России степи – их нельзя отменить, степи есть. Африканцы не могут отменить свои пустыни – так уж сложилось. В степи урожай не соберешь. И надо в степях рыть каналы, давать воду. А на войне надо брать города, пересекать болота, тянуть обоз. Понимаешь?

– Да, – сказал Сергей Дешков.

– Это наша история, и история у нас – одна. Нет другой истории.

– Ты сказал, на войне противник – это икс. А в истории какой икс?

– Находят разные берестяные грамоты, уточняют летописи. Но вообще-то неизвестная величина в истории одна – это ты сам. Все остальное известно, надо только не лениться, прочесть и подумать. И знаешь, чем историк отличается от политика? Политика – это когда из рукава достают самолеты. Ах, перед нами поле? Самолеты сюда подайте! Нет самолетов – тогда будем считать, что и поля нет. Степи в России имеются? Тайга? Давайте считать, что это не определяющий фактор. Будем ориентироваться на Среднерусскую возвышенность и плодородную Кубань, – и отец засмеялся; он смеялся гулко и отрывисто, как кашлял.

– Ты, когда женишься, – сказал он вдруг, – ты сразу детей рожай. И жене скажи, чтобы не сомневалась, – прокормим. Не тяни. Сразу пусть рождает. Больше рожай, как у крестьян, пятеро чтобы.

– Я пока жениться не собираюсь. В Хабаровске не до жены.

– Не важно. В Хабаровске, в Москве, на Луне. Не важно. Детей делай, внуков хочу. Больше детей. Чтобы все орали. Когда был молодой, не понимал. Только сейчас дошло. Ты-то понимаешь хотя бы? – Они шли по парку и смеялись. Хорошие были дни.

И в тот вечер, когда обедали с Гамарником, отец тоже смеялся.

– Смычка города и деревни! И где будет проходить встреча, интересно? На колхозном рынке?

Гамарник ел холодец, широко открывая рот: сквозь бороду генерала можно было видеть куски непрожеванной еды у него во рту.

– Ты здесь сидел, – напомнил ему отец, – когда Радек про смычку говорил. Помнишь?

– Нет, – сказал Гамарник, – не помню.

– Он смешно сказал. Про построение социализма в одной стране, в одном уезде или на одной улице... Он Щедрина цитировал... как либерал строит либерализм в единственном уезде...

– Я профессиональный военный, – сказал генерал. – В картах разбираюсь. Фронтом командовать могу. И ты военный. Я про тебя все знаю и всякому скажу, что ты честно воевал. А политикой не занимаюсь и тебе не советую.

– Я политику тоже не уважаю, – сказал отец. – Но как без нее? Мне вот что пришло в голову, Яша. Мы строим бесклассовое общество, так?

– Однородную структуру, – сказал Гамарник и чавкнул холодцом.

– Правильно. Поэтому кулаков задавили. И у крестьянства с пролетариатом смычка. Потому я тамбовцев рубил. С точки зрения будущей войны полезно. Нет классов больше. А один класс все-таки остался. Просмотрели. Мы с тобой остались – профессиональные военные.

– Не понял.

– Что тут непонятного? Мы, если хочешь, вроде нэпманов.

– Ты что?

– Задумайся, Яша. В однородном обществе профессиональный военный не нужен – так же, как профессиональный заводчик.

– Неверно, – сказал Гамарник, – толкуешь проблему. Знаешь, зачем нэпман был нужен? У нэпмана на заводе образуется пролетарий, а у пролетария – образуется пролетарское сознание. Я сам не сразу понял. Это была стратегия по выращиванию пролетарского сознания. – И выдав эту бессмысленную, как показалось тогда Дешкову, тираду, Гамарник задумался. Он ел и думал, шевелил губами, двигал бровями. – В Германии, – добавил генерал без видимой связи, – заводов всегда было много.

– Германию мы потеряли, – сказал отец с досадой, – потеряли германский пролетариат, а как начинали дружно.

– Зато их Гитлер сплотил, – сказал Гамарник. – Создал однородную структуру, называется «дойче фолк». Встанут в строй, только команду дай.

– Как странно получилось, – сказал отец, он не спорил с Гамарником, которого считал человеком глупым. Вот Тухачевского читил, Тухачевский был философом, некоторые его речения, мол, христианство и Возрождение испортили цивилизацию, отец любил повторять; а с Гамарником что спорить? – Вот как странно: идет война, народ воевать хочет, но военные на войне не нужны. Странно, да?

– А знаешь, Гриша, – сказал Гамарник неожиданно; на лице Гамарника было написано удивление, словно и сам он не ожидал от себя такой важной мысли, – знаешь ли ты, что корни проблемы – в национальном вопросе? В народе. Остальное – производное. Я, пожалуй, только сейчас понял. Возьми девятнадцатый год, Восьмой съезд РКП(б), выступление Томского по нацвопросу. Проблема в чем? Ленин дал команду на самоопределение – и побежали нации, страна стала разваливаться. Томский тогда сказал, что самоопределение наций – это неизбежное зло. С трибуны сказал, громко. Мол, надо создавать однородную промышленную структуру, которая будет мешать самоопределению частей. Свободу дадим, а возможностей не дадим. А ведь это противоречило указаниям Ильича.

– Ну и что? – спросил отец.

– А я не знаю, Гриша. И Томский не знал. Тогда, на Восьмом съезде, Ленин Томского спросил – из зала спросил: «Эти трудности вы намерены создать в первую очередь, товарищ Томский? А что будет во вторую очередь?» А Томский ему ответил: «Что делать во вторую очередь, это мы потом увидим». А Ленин сказал: «Вы мудрый человек, товарищ Томский». И засмеялся.

– Так до сих пор и смеемся, – сказал отец зло.

Дешков посидел за столом со старшими недолго – отец не поощрял панибратства со взрослыми. Тем более со старшими по званию.

– Покушал, Сергей? На кухню пойди, Глебовну проведай. Она скучать будет, когда уедешь. Мы здесь без тебя обойдемся.

Сергей Дешков встал из-за стола, сказал «спасибо» матери, надел фуражку, поправил ремень, отковырял Гамарнику.

– Ступай, Сережа, – сказал ему генерал Гамарник, он был мягче отца и Сергея любил, – вот, махни рюмашку на ход ноги, – и Гамарник налил ему рюмку водки.

Перед отъездом в армию Дешков посидел с отцом на кухне. Глебовна плакала, ставила на стол вазочку с печеньем, а руки дрожали.

– Почему руки дрожат, сестренка? – Отец всегда называл Глебовну сестренкой, потому что она была с ними давно. – Успокойся быстро и чаю нам налей. Желательно не за шиворот.

Чай Глебовна всегда заваривала прямо в чашке, чай получался густой и горький. Выпили чай, отец сказал, что будет война с Японией.

– Все будет решаться на Дальнем Востоке, – сказал отец.

– Почему?

– Потому, что большая война уже три года как идет, – сказал отец. – Все смотрят в сторону Германии. Где-то должна пролиться большая кровь. Люди как акулы, им надо почувствовать кровь. Но уже началось на Востоке. Народу там много, людей жалеть не станут. И мир почувствует кровь.

– Разве в Испании не пролилась кровь?

– Недостаточно. Мало крови. Там перетянули рану жгутом. Не дали большой крови пролиться.

– Не пойму, за что на Востоке воюют, – сказать это было очень важно для Дешкова. Он считал, что про фашизм Германии и империализм Англии он все понимает, а зачем идет война на Востоке, он не понимал.

– Воюют люди не за что-то. Зачем корабли плывут в шторм? Ладно, ступай. И вот еще что.

Дешков ждал, что отец скажет.

– Никогда не бойся. Шанс выжить всегда есть.

– Даже в лагере? – Он, впрочем, знал, что отец выжил.

– Ты помнишь, мы говорили про то, что война – это математическое уравнение. Подумай, посчитай данные еще раз. Всегда найдется икс, который ты не заметил. Это и есть шанс.

– А если уравнение очень простое? – Сергей был уже капитаном, взрослым мужчиной, знал больше, чем юноша в том осеннем парке. – Бывают простые уравнения: два плюс два, и решение только одно – четыре.

– Мы с тобой крепче, чем другие. Ты знаешь, что у кошек – семь жизней? У нас с тобой столько же. Мы живучие.

Отец хотел, чтобы Дешков ничего не боялся, и сказал ему так: «Даже если за тобой пришли – не все пропало. Всегда есть еще одна минута, вытерпи, дождись ее». Когда говорил, он подумал о тех, кто не успел использовать свою последнюю минуту, – а он видел таких людей достаточно. Было много таких невезучих, за кем приходил он сам, – в Кронштадте, Тамбове, в разных местах. Им он не давал шанса, и последней минуты у них тоже не было.

И если требовалось пересечь поле, он всегда пересекал поле, даже если шел под огнем и оставлял половину людей по дороге. У его солдат шансы были невелики.

Тем не менее он сказал сыну: «Даже когда за тобой пришли, не все потеряно». Тогда уже стали употреблять выражение «за ним пришли» – сын понимал, что имеет в виду отец.

Дешков поцеловал мать и Глебовну, которая его перекрестила. Потом обнял отца, отец сказал ему: «Ступай», – и Дешков уехал.

За маршалом Тухачевским пришли в мае тридцать седьмого, и это означало, что их семье конец.

Про арест Тухачевского Сергей Дешков узнал не сразу. Известия в их часть приходили чаще с востока, чем с из столицы. Из столицы он получал только письма от Дарьи, девушки, с которой познакомился, когда приезжал на побывку. Дарья писала Дешкову стихи: раз в месяц стихотворение. Письма шли долго, приходили по три сразу – и Дешков читал сразу три стиха. А газеты из Москвы никто не присылал.

У Дешкова случались выезды в Китай. Квантунская армия стояла на границе, обсуждали Японо-китайскую войну; японцев ненавидели. Сначала пал Пекин, потом японцы вошли в Нанкин и за месяц вырезали сотни тысяч человек. Про взятие Нанкина рассказывали китайцы, которым удалось уйти из окружения. Рассказывали, что японцы делали с людьми: отрезали женщинам груди, вспарывали беременным животы, разрывали на части грудных детей. В Нанкине убили триста тысяч мирных китайцев, включая малых детей, – много народу перебили, а всего-то за три недели, работали с восточным упорством. Дешков слышал – и верил. Если поляки могли так мучить людей в лагерях – какой спрос с косоглазых. У них вся культура жестокая. И потом – ведь это война. Косоглазые никого никогда не жалели, вот хоть монголов вспомнить.

Из Китая надо было вывозить русских эмигрантов – Дешкову пришлось разбирать бумаги, приходившие из Харбина, Нанцина, Шанхая: он должен был решать – кого они могут принять, а кого нет. В те годы эмигранты устраивали пикеты перед советским посольством, некоторые просили взять их обратно, соглашались на любую работу – но чаще люди приходили, чтобы бросить что-нибудь в окна, большинство говорили так: «За Святую Русь будем воевать, за серп и молот – нет!» И когда Дешков разбирал бумаги, он не мог знать, кто за ними – шпион или истосковавшийся по березкам профессор. На человека выделяли по 37 рублей денег, считалось, до границы с Россией на эти средства эмигрант доберется, а там уж русские войска его подхватят. А заодно проверят личность.

– Ну где я для них довольствие возьму?! Где?! – ярился полковник Хрусталеv. – А если он диверсант? Если его заслали? Имей в виду: под твою персональную ответственность!

Сколько ответственности можно на себя взять? Решил принимать всех, кто просит, всех подряд. Война – это когда все можно, до отказа. Если убивать можно всех, то уж и спасать, наверное, тоже можно всех. Прав был отец, еще немного – и начнется у нас тоже, вон самураи уже на границе. Ждали боевого приказа со дня на день; неожиданно их хабаровскую дивизию расформировали. Объявили, что организация данной дивизии – часть преступного плана Гамарника и Тухачевского, врагов народа. Первый покончил с собой, боясь разоблачения, застрелился – ушел от суда; а второго судили, разоблачен как германский шпион, расстрелян; раскрыт крупный заговор. Информация короткая, сказали, что процесс подробно описан в газетах, но газет Дешков не видел.

Гамарник часто бывал у них в гостях, маршал Тухачевский был прямой начальник отца, – и Дешков понял: сейчас возьмут и отца. А потом – мать. Как это бывает с нами в минуты опасности, он отчетливо представлял себе все события: и то, чего не мог видеть физическим зрением, представало перед ним ясно и в подробностях. Он представил полное лицо Якова Гамарника в смертной муке, представил, как этот близкий им человек, который так любит покушать и посмеяться, подносит к уху револьвер. Он представил надменное

лицо Михаила Тухачевского, который был в гостях всего однажды, сидел на стуле, скрестив руки на груди, будоражил воображение мальчика. И представил себе отца, его узкий рот, серые холодные глаза. Его отец выживал уже столько раз, что, наверное, истратил запас своих семи жизней.

Дешков пошел в комендатуру, потолкался в прихожей – узнать, что еще слышно про московские процессы, что пишут в газетах. По пути его дважды останавливали – он шел, не различая пути, не глядя под ноги, толкал плечом встречных. Страх сделал его слепым: он не видел людей, только представлял мать и отца. Перед глазами была их квартира, люстра со стеклянными подвесками, книжные полки с мемуарами военных. Он ясно видел, как при обыске полки опрокидывают на пол, как разбивают прикладом люстру. Из разговоров в комендатуре понял, что заговор огромен, Тухачевский и Гамарник – просто самые известные имена, а вообще шпионов, внедрившихся в армию, не счесть. Ничего, говорили, вычистим ряды.

Вскоре Дешкова вызвали в Москву, он сел в поезд и не видел вагона, не видел лиц попутчиков. Дешков говорил с попутчиками о заговоре военных, попутчики смотрели на него и поражались отсутствующему взгляду офицера. А Дешков просто ничего не видел перед собой, мир вокруг стал мутным. Обсуждали приказ № 072 наркома Ворошилова, нарком покался перед армией в слепоте, не разглядел он в обычном пьянчужке Тухачевском – предателя и шпиона. Вагонные собеседники склонялись к тому, что Тухачевский действительно германский шпион. Лейтенант из Омского гарнизона резонно спросил: «А почему же он Варшаву не взял, если рядом был? Ну, почему? Объяснений не нахожу, нет у меня объяснений! – лейтенант из Омска (в прошлом продавец в бакалее, пришедший в армию по срочному призыву и сделавший головокружительную карьеру благодаря доносу на старшего по званию) разводил полные ладони в стороны в знак недоумения. – С Колчаком он, видите ли, разобрался, с Деникиным разобрался, а на поляка Пилсудского от своих хозяев добро не получил – я так считаю». – «Все проще, – говорил другой попутчик, артиллерийский капитан, – разве ж один пан другого пана обидит?» – «А ведь верно! – и лейтенант-бакалейщик ударял полными ладонями по коленям, – как я не сообразил!» Капитан добавил: «Завербовали его в германском плену, это очевидно. Тут даже дознаний не надо проводить. Иначе кто бы ему дал пять раз бежать? После первого же побега – в расход. Но ведь надо и биографию подготовить. И версию правдоподобную слепить». – «Верно!» – говорил лейтенант и радовался объяснениям. Голос у лейтенанта был высокий, женский, а лица его Дешков не видел, только белое пятно плавало в мутном воздухе вагона. И много еще говорили про уборевичей, якиров, блюхеров и гамарников – так предателей назвал в приказе нарком, словно не людей называл по фамилиям, а перечислял статьи Уголовного кодекса: карманники, взломщики, саботажники.

Дешков приехал домой, поднялся на третий этаж. Глебовна убралась в его комнате – пахло мылом и свежим бельем. Он присел к столу, потрогал фарфорового львенка, мать подарила на совершеннолетие. Сели пить чай из китайского сервиза – и зрение вернулось, глаза открылись сами собой. Желтый паркет блестел, люстра со стеклянными подвесками сверкала, корешки книг серебрились тиснением фамилий, чашка с синими драконами стояла на блюде с красными драконами – мать всегда все ставила невпопад. Время было позднее, он устал с дороги, но не спал: ждал, когда придут – они ведь всегда приходят ночью.

Сидел, не раздеваясь, на постели. Зашел отец, сел рядом.

Дешков ничего не спрашивал.

– Они ведь что скажут, – отец разговаривал сам с собой, смотрел в пол, – они скажут: зачем вы поддерживали концепцию легких мотострелковых подразделений, создание легких танков и даже вредительскую теорию – запустить в производство танки на колесах? Они

скажут: вам что, непонятно, что нашей стране нужны тяжелые танки? Завтра война – оборону как будете держать?

– Разве ты отвечал за танки?

– Самое дикое, – сказал отец, – что даже я не знаю, что там за Михаилом числится.

Потому что есть, конечно, такое, чего я не понимал и не понимаю. Зачем сегодня легкие мотострелковые части? Конечно, он набегался в Гражданскую войну из Тамбова в Кронштадт, теперь ему нужны солдаты на автомобилях. Но Гражданская война кончилась. Для большой войны танки нужны тяжелые. Мы не Германия. Нам план Шлиффена ни к чему.

Так они сидели и молчали. Отец пошел на кухню, налил в чашки холодной воды, дал одну чашку Дешкову. Сидели, пили воду.

– Или чаю заварим?

– Вода лучше.

– Да, вода лучше.

– Германия – страна маленькая, воюет на два фронта. Молниеносная война на Западном фронте – всеми силами сразу – и тут же все силы на Восточный фронт. Дороги отличные, расписание немецкое. Раз-два, и с одной армией успеваешь на оба фронта. Армию делить нельзя, для этого легкие танки и сделаны. Но Россия не может так воевать! У нас до Маньчжурии две недели пути! Нам надо держать оба фронта! Тяжелые танки нужны!

Отец подошел к окну, посмотрел на улицу, вернулся, снова сел.

– Ты постарайся уснуть. Скоро светать будет. Наверное, уже не приедут. Не бойся.

– Спокойной ночи, отец.

Однако отец медлил, не уходил, и Дешков подумал, как же хорошо вот так сидеть – и прохладный ветерок в окно, и деревья в парке шумят, и слышно, как кричит ночная птица. Редко они с отцом видятся, и если бы не беда, то и сегодня бы вот так не сидели.

– Ты детей рожай, – сказал ему отец, как тогда, на прогулке в парке, – ты с этим не тяни. На Рихтеров посмотри, на соседей. Четверо сыновей. И как липнут к отцу. Евреи, они каждого берегут, их мало. А у нас, у русских, полдеревни полегло – и ничего. У нас лишних ртов много. Дураки мы.

– Хорошо, буду детей рожать, – и Дешков улыбнулся.

– Вот завтра и начинай. А сейчас давай спать.

Но не уходил, сидел рядом. Дешков посмотрел на него сбоку – подумал, что люди стареют как собаки: шкура обвисает на шее, голова клонится вниз.

– Ты не думай ерунды, я здоров, – сказал отец, – просто устал очень. И мать жалко. Присмотри за ней, если что.

– А что может быть?

– Ничего не может быть, конечно. Вины за мной нет. Ты не бойся.

Отец встал.

– Хорошо посидели, спасибо тебе. Мать береги, понял?

Страх прошел, и он уснул. Утром отец сказал ему «не бойся» еще раз. Они сели завтракать, мать намазала белую буханку медом, дала сыну – и тут пришли за отцом. Вошли сразу четверо, толкаясь плечами в прихожей, отодвинули Глебовну к вешалке – мол, стой смирно, тетка, не шевелись. Двое в полевой форме, двое в кожанках. Мать отставила чашку, протянула к Сергею руки – то ли защиты просила, то ли просила собой не рисковать. Отец вышел навстречу конвоем слегка прихрамывая. Не сказал ни слова, не спросил, зачем пришли, не попросил ордер, просто пошел вперед и встал так, чтобы не дать им пройти глубоко в комнату. Сперва Дешков подумал, что отец хочет прикрыть его и мать, но отец, прихрамывая, чуть сместился к окну – и Дешков понял, что отец сейчас будет стрелять. Отец нарочно встал к окну, чтобы убрать семью с линии огня. Дешков знал: так менялось отцовское лицо перед тем, как он совершал свои дикие и неожиданные поступки. Лицо отца в такие минуты

словно цепенело – это особое состояние, его и сам Дешков пережил, когда страх ослепил его в Хабаровске: точно заморозили тебе глаза. Таким было лицо отца, когда на их улице татарин вырвал сумочку у матери, и мать упала на асфальт. Отец с Дешковым были рядом, но татарин не понял, что они все вместе. Тогда лицо отца тоже оцепенело, а через секунду он уже всадил дуло своего наградного кольта татарину под подбородок. Серые глаза его и сейчас смотрели без всякого выражения, точно он никого и не видел перед собой – отец не задавал вопросов, не возмущался. И Дешков понял, что отец будет стрелять. Ведь отец говорил, что всегда есть последний шанс. Сейчас он выдернет из-за спины кольт, сейчас. Отец всегда носил оружие под пиджаком, сзади, просовывая дуло за брючный ремень, даже дома так ходил, – вот сейчас, сейчас он выхватит револьвер. Но опера рассыпались по квартире, один оказался за спиной у матери, а еще один встал подле Сергея Дешкова, и не было точки для стрельбы. Отец посмотрел на жену, посмотрел на сына и стрелять не стал. Только кивнул матери и ничего и не сказал. Когда в коридоре надевал пальто, выбросил из-за спины оружие – револьвер мягко упал в валенки, Дешков видел куда. В тот день обыск не провели; а когда пришли с обыском через два дня, уже ни кольта не было в квартире, ни матери, ни самого Дешкова. Дешков действовал, как и учил отец, стремительно: отправил мать в Архангельск – там жила школьная подруга. Пришли – а в квартире пусто, даже кота Кузю увезли в Архангельск. Сам Дешков решил не прятаться, пожил два дня у друзей, потом явился с документами в райвоенкомат. Почему задержались? Виноват – и руку к козырьку. Бумаги взяли, посмотрели, вернули, сказали, что вызовут, спросили адрес. Дал старый адрес. Пожил неполный месяц у Щербатовых, потомственных чекистов. Жить у них оказалось неприятно, Щербатовы не верили, что отец – шпион, однако не сомневались в виновности Тухачевского. Отец Щербатова, который еще у Менжинского работал, неприятный человек с нервным тиком, говорил Дешкову каждый день: «Твой отец мог не знать, кому помогает». Потом Дешков жил у Рихтеров, в еврейской семье, эмигрировавшей в Россию из Аргентины. Рихтеры как раз проводили троих сыновей на испанскую войну, в квартире было свободно. Моисей Рихтер открыл для Дешкова комнату старшего сына – живи сколько хочешь.

Дешков прожил у Рихтеров полгода, читал книги Рихтеров – все по истории Рима – и ходил на свидания к Дарье, девушке из дома Наркомфина на площади Восстания. Они встречались еще до отправки Дешкова в Хабаровск, и сейчас он к ней зашел – сказать, что отца арестовали. Сразу сказать не получилось – полгода они просто встречались, два раза в месяц ходили гулять по бульварам, иногда в кино. Однажды шли по улице Герцена, и наконец он решился. Рассказ получился нелепый.

– Отца, наверное, уже расстреляли, – сказал Дешков зачем-то, – но мой отец не шпион, это ошибка. – Про Тухачевского не сказал, про Гамарника тоже не упомянул.

– Мне родители уже говорили, что у вас беда. Я думала, тебе тяжело про это. Если у нас будет мальчик, назовем его Гришей, как твоего папу, – сказала Дарья.

И неожиданно Дешков сказал:

– Назовем Яковом. – Он думал не про Гамарника, он думал про Иакова, отца народов; надо было восстановить род.

Жениться Дешкову не следовало, но они поженились. Свидетелем на свадьбе был Соломон Рихтер, младший сын Моисея, который в Испанию не уехал по возрасту – ему было семнадцать. Пока Дешков жил у Рихтеров, он с Соломоном успел подружиться – юноша ему нравился.

– Вы останетесь жить у нас, Сергей? – спрашивал Соломон.

– Спасибо, но пора и честь знать.

От Рихтеров они съехали, нашли подвал в Астрадамском проезде. Пол земляной, но отопление имелось, жить можно. Переехали в подвал, стали жильцами у Бобрусовых.

Так прошло еще полтора года. Рихтеры давали деньги в долг – долг, который Дешков никогда им не вернул. Работать Дешкова не брали, просили справку из военной части, о том, что демобилизован, а такой справки у него не было. Он пошел в военкомат – сдаваться, сказал, что сменил адрес, спросил, что делать. Посоветовали ждать и не волноваться, о нем помнят. И он ждал – а чего ждал, непонятно; как выяснилось – ждал войны. Из друзей (их прежде было много) осталось трое – Соломон Рихтер, Андрей Щербатов и хулиган Коля Ракилов; все знакомы еще с детства и жили в одном дворе.

Ракилов жил в бараке, вокруг него клубились странные люди – инвалиды, подростки с косыми взглядами, бездомные татары, которые только приехали в Москву и не получили ни прописки, ни справок с работы. Ракилов гулял по двору в длинном пиджаке с двумя разрезами, с квадратными серебряными пуговицами, он называл этот пиджак «французским»; Ракилов держал руки в карманах и плевал себе и прохожим под ноги. Он пропадал на недели, потом появлялся с деньгами, много пил. Судя по всему, Ракилов занимался противозаконными делами, но сын репрессированного военного не чувствовал, что у него больше оснований на безоблачную жизнь, чем у Николая Ракилова. Они курили во дворе, у кустов барбариса, и Ракилов сплевывал желтую слюну в кусты и давал советы.

– Возьми свою Дашку и дерни на юг. Билеты не бери, не надо. Подойди к вагону и проводнику на лапу дай. Он вас приткнет в вагон. На юге тепло, объякоритесь в деревне под Новороссийском, кто тебя найдет?

– Что я там делать буду?

– Сливы кушать, чачу пить.

– На что сливы покупать, Коля? Где работать?

– А здесь ты работаешь? Приедешь – не заявляй о себе, не иди в сельсовет. Иди по хатам, наймись батраком.

– Будто они о батраках не докладывают.

– Дурак ты. Как раз о батраках они не докладывают, кому охота кулаком слыть. Ты меня слушай, Серега.

Щербатов работал в НКВД и, подходя к Дешкову во дворе, говорил тихо и многозначительно – давал понять, что про Дешкова все известно. Кому известно и что именно известно – не говорил.

– У тебя небось документы какие-никакие остались? Письма например. Или фотографии. Ты бы пошел, мой совет, добровольно все сдал. Тебе простят.

– Какие у меня документы? Ты о чем?

– Ты сам можешь не знать важности документа. Не знаешь, что в письмах содержится. Там между строк написано. Отдай профессионалам.

– В письмах? Между строк? И нет у меня писем.

– А тебе разве отец не писал?

– Нет никаких писем.

– Ну, как знаешь. Я совет дал, – и Щербатов смотрел внимательно.

В другой раз подошел и тихо спросил:

– Ты детей Уборевича и Якира знаешь?

– Кого?

– Петра Якира, сына предателя и шпиона Якира. И Владимиру Уборевич, дочь шпиона Уборевича.

– Владимиру?

– Имя такое, женское. Мужское имя – Владимир, женское – Владимира.

– Как у Ленина?

– Осторожней произноси имя Ленина. Не мешай великое имя с именами врагов народа. Знаешь детей Якира и Уборевича?

– Нет, не знаю. Они, наверное, маленькие еще.

– Ага, все-таки знаешь... Арестовали твоего знакомого Петра. Не ребенок он, нашел ребенка! Пятнадцать лет, сознательный возраст. Ответит по закону. И дочь Уборевича тоже арестовали. И Тухачевских взяли. А тебя не трогают. Удивительно. Как думаешь, почему?

– Почему? – спросил Дешков.

– Потому что у тебя есть друг, Щербатов, – и Щербатов смотрел на Дешкова значительно и пристально, – и твой друг за тебя поручился. Сказал, что ты добровольно все бумаги отдашь.

– Какие бумаги?

– Письма всякие.

– Нет у меня писем.

– Ну, смотри. Я ведь за тебя поручился.

– Где ж я тебе письма возьму?

– А про мать свою ты ничего не слышал?

– Откуда?

– И писем у тебя нет?

– Нет.

И в третий раз подошел к нему Щербатов спустя полгода. Щербатов, должно быть, продвинулся по службе – где он служил, толком никто не знал, но догадывались – и теперь он так научился смотреть, словно обыскивал собеседника, взглядом проверял карманы, пазуху, подкладку пальто. Пройдет взглядом по левой руке, перейдет на правую, осмотрит воротник, потом изучает подбородок. В наши дни так сотрудники банка ощупывают взглядом клиента: есть ли в данном гражданине реальный интерес – или одни копейки? А в те годы так смотрели на человека работники органов: проверяли каждую деталь. Щербатов осмотрел Дешкова и спросил:

– Жена твоя почему не работает?

– Работает. В сельскохозяйственной академии, лаборантом.

– Видят ее часто во дворе. Гуляет много.

– Болеет последнюю неделю, на работу не выходит.

– А по двору гуляет.

– Душно в подвале.

– Просто люди вопросы задают. Почему сноха врага народа – на работу не ходит? Она что, лучше других?

– Ходит она на работу! – страшно прозвучали слова «сноха врага народа».

– Мне-то все равно. Другим не все равно. Я тебя по-соседски защищал.

– Спасибо. – Дешков старался поймать взгляд Щербатова, но взгляд был особенный.

Щербатов глядел цепко и вертко; посмотрит внимательно в одну точку и тут же переведет глаза на другое место. Не успеть было за его взглядом.

– Ну, ты приглядывай за женой, приглядывай, – сказал Щербатов и пошел прочь, только еще добавил: – Бумаги не надумал отдать?

– Какие бумаги?

– Ну, я предупредил.

Дешков прятал отцовское оружие на дне ведра, вместе с фотографиями и письмами. Одно письмо перечитывал часто, пока не выучил наизусть. Письма были завернуты в отцовскую гимнастерку, придавлены сверху свертками с посудой. Сегодня, когда пришла повестка, Дешков вынул из ведра свертки с посудой, вынул тетради со стихами, перевязанные шнурком от ботинка, вынул отцовские письма к матери, отцовские тетради, потом достал со дна кольт, развернул тряпку, освободил длинное стальное дуло. Он подержал кольт на ладони, покачал тяжелый ствол, потом пристроил в кобуру под левой рукой. Походил по

комнате, подумал, достал револьвер из кобуры и сунул за спину, за ремень. Так учил отец: выхватить оружие можно неожиданно, кольт под пиджаком незаметен, и вообще много преимуществ. Так Григорий Дешков и носил оружие. В армии, конечно, свои правила, но он умудрился до самой своей смерти проходить с пустой кобурой, в которой, случалось, носил водку, бутерброды, штабные карты – а револьвер всегда был сзади, под ремнем, дулом доставал до копчика. И когда ему командовали: «Руки в гору!левой рукой медленно отстегнул кобуру – и три шага назад!» – он хладнокровно подчинялся приказу, медленно отстегивал пустую кобуру левой рукой, а правой уже нашаривал за спиной холодную перламутровую рукоять.

Дешков упаковал письма и посуду обратно в ведро, ведро задвинул под кровать – высокая кровать, на высоких ножках, под ней собралось все их имущество: Дашкино зимнее пальто, несколько книг из домашней библиотеки, подаренный Моисеем Рихтером «Das Kapital» Маркса в оригинале – кто, интересно, читать будет? – и рукописи отца. Рукописи он так и не разобрал, хотя сотни раз давал себе слово – но как их разберешь? Где? На колене прикажете разложить сочинение об истории Государства Российского? Отец всю жизнь писал записки и заметки, неряшливым почерком в общих тетрадках. Дашка когда-нибудь разберет, подумал Дешков, а если сын родится – вот сыну и будет работа. Дешкову стало легко и свободно – оттого что все свои дела он мог отныне забыть и переложить на жену. А уж как она справится да и справится ли – это теперь от него не зависит. Справится, наверное. Дашка сильная.

Дешков потуже затянул ремень, поправил рукоять револьвера, одернул пиджак, взбежал по четверем подвальному ступеням, толкнул дверь на улицу. Солнышко, глаза слепит. Лето все-таки.

## 2

Когда началась война, Фридрих Холин понял, что теперь он ничего не успеет. Хотел исправить жизнь, а не получится исправить. Все откладывал, думал, есть время, по крайней мере год в запасе, а потом, когда год проходил, надеялся на другой год. А тут война. И он осмотрел свою жизнь как осматривают комнату – из конца в конец – и нашел ее неубранной. Как же так?

Говорил по радио Молотов, а Фридрих думал о том, что упустил время. По крайней мере несколько спокойных лет у тебя, дурня, было – что ж ты их не использовал? Смотрел на жену, которая привыкла к монотонной и дурной жизни. Они могли быть счастливы – вот как соседи Щербатовы, у Щербатовых все хорошо! От них всегда пахнет жирной едой, они варят щи с мясом, из их веселого подвала на весь дом тяжело пахнет щами – и слышно, как дружно семья питается, звякают щербатовские ложки в тарелках. И слышно, как заливисто хохочет жена – смешливая жена у Щербатова! Они могли жить, как соседи Дешковы – те всегда ходили, взявшись за руки, у Дешковых получилось жить дружно, а у них не получилось. Теперь жена Фридриха Холина ходила к странным старушкам, молилась вечерами, в дом принесла иконку – а Фридрих ревновал к иконке, ярился на старушек, думал: ничего, Люба, мы еще проживем, ты прости меня, я еще тебе докажу. Я еще смогу тебя сделать счастливой, я отработаю, ты увидишь! Он ждал, что печальный роман с Анной прекратится сам собой, так, чтобы никого не обидеть.

Пересекала двор нищенка, а он смотрел на нищенку и думал: вот, если я Анну брошу, она останется такой же одинокой, как эта нищенка. И будет сидеть в чужом дворе на лавочке, кутаться в платок. Никого нельзя бросить, ты должен всех защитить, твердил он себе. Но как это сделать практически? Зарплаты не хватит, чтобы всем сразу помочь. Собрать всех в одной квартире? Неужели нельзя договориться? Нет, не получится... Отчего Люба с Анной не могут договориться? Почему женское счастье такое себялюбивое, что его не делят на всех? И просторная квартира в четыре комнаты в Астрадамском проезде не принесла счастья – не получилось построить быт. Вот сын растет, а мать его плачет ночами, и отец выходит курить на балкон. Ничего, говорил он себе, я сумею справиться, я найду нужные слова. Дайте мне время, дайте мне собраться с силами, дайте собраться с мыслями, я докажу! А тут война.

И с работой получилось нелепо. Невозможно подписывать заметки именем «Фридрих», когда немцы под Москвой. Невозможно писать заметки в «Вечернюю Москву», когда хочется роман написать. И каждый день та же проблема: хорошо, я сяду за роман, а семью кормить кто будет? Люба сказала, что он им ничего не должен: «Мы с Пашей проживем, садись работай». Но это так говорится только, а завтра денег не станет – что тогда? И требуется улыбаться жестокой редакторше Фрумкиной, ловить ее вороний цепкий взгляд. Она все чувствует, Фрумкина, у нее нюх! Из газетного мира легко выйти, вот обратно уже не пустят – место займут за полдня. Надо было однажды решиться, смести прочь со стола крошки поденной работы – заметки, интервью, гадостный газетный сор – к черту, в корзину! А черновики романа имелись, первая глава написана, отложена до лучших времен. Все думал: завтра сяду за роман. А тут война с Германией.

Родители Фридриха Холина говорили своим друзьям, что воспитывают сына на немецких романтиках. Мальчика назвали в честь Фридриха Энгельса, но ведь были еще и драматург Фридрих Шиллер, и писатель Фридрих Шлегель, и философ Фридрих Шеллинг. И даже Иоганн Вольфганг Гёте, величайший гений, имел третье имя – Фридрих! Германская культура (так учил русского мальчика Фридриха отец) сформулировала важнейшее для нового мира понятие – личность! Нам, говорил мальчику отец, в коммунистической России, очень

важно сохранить преемственность великой гуманистической культуры. Отец читал маленькому Фриде строчки Гёте:

Höchstes Glück der Erdenkinder  
Sei nur die Persönlichkeit.  
(Высшее счастье детей земли  
Есть только одно – Личность!)

Папа прочел строчки по-немецки и рассказал, что не всякий человек – личность. В людях много звериного, дикого. Мы еще не вполне состоялись как люди, звание «человек» надо заслужить, говорил отец. А «личность» – это высшая точка развития человеческого существа, понимаешь? Личность – это неповторимый, ни на кого не похожий человек, с особым внутренним миром. Исключи из себя все стадное, преодолей в себе природу. Трудно не стать игрушкой толпы. Это ежедневный труд, Фридрих. Личности – это герои, которые живут наперекор стихии бессознательного, которые подвергают все сомнению.

Как обычно, слова отца подействовали на мальчика магически. Фридрих гулял по Астрадамскому проезду, придирчиво присматривался к отдельным прохожим и прикидывал: «Дядя Алеша Тихомиров – личность или нет? Вряд ли. Не похоже. Скажи ему слово «личность», так он только рот откроет. А тетя Лена Петрова? Тоже, пожалуй, не личность. Куда ей, толстой неграмотной дуре. Знает только свои пирожки с рисом печь. Ничего не читала. Про Гёте, наверное, и не слышала. В ней, если вдуматься, звериного начала даже больше, чем в остальных. В нормальном человеке, папа говорит, половина звериного, а в тете Лене – наверное, три четверти звериного начала. А в Андрее Щербатове?» И Фридрих как-то спросил своего школьного приятеля:

- Скажи, Щербатов, ты – личность?
- Что? – сказал подозрительный Щербатов.
- Как ты думаешь, в тебе чего больше – звериного начала или человеческого?
- Что я, по-твоему, на четвереньках хожу? – рассвирепел Щербатов.
- Не злись, подумай хорошенько. Ты хочешь иметь по всякому вопросу свое мнение, подвергать все сомнению? Хочешь или нет?
- А что – обязательно надо?
- Если хочешь стать личностью.
- А зачем личностью становиться?
- Ну ты даешь! Да это самое лучшее, что может с человеком случиться!
- Ладно, уговорил. Буду личностью. Вот, например, дважды два – четыре. Так в школе сказали. Это надо подвергать сомнению?

Фридрих задумался. С одной стороны, ясно сказано: «Подвергай все сомнению». Но ведь, пожалуй, дважды два всегда будет четыре, подвергай ты этот факт сомнению или нет.

- Чего молчишь?
- Подвергаю сомнению твои слова, – с достоинством сказал Фридрих. – Ладно, дважды два – можно не подвергать.
- А трижды три?
- Вообще можешь не подвергать сомнению таблицу умножения.
- А правила уличного движения? Надо подвергать сомнению или нет?
- Правила движения – тоже не надо.
- Так ведь под машину попадешь, пока личностью станешь, – сказал Андрей Щербатов ядовито. – А время года надо подвергать сомнению? Например, на улице зима, а ты пойдешь в школу в трусах.
- Что ты ко мне пристал!

– Я к тебе пристал? Это ты ко мне пристал. А школьные отметки надо подвергать сомнению?

– Думаю, надо, – сказал Фридрих.

Каждый день, идя в школу, Фридрих напевал вполголоса строки Иоганна Вольфганга Гёте, заученные наизусть. Звучало это так: «Хохстес глюк дер эрденкиндер ист нур ди персонлихкайт!» Последнее слово он выкрикивал громко: «Персонлихкайт!» Звучало более торжественно, чем скользкое слово «личность». Вот бы подойти тогда к Щербатову и спросить: «Ты, Щербатов, – персонлихкайт? Или нет?» И Фридрих бормотал слова песенки, а когда подходило к «персонлихкайту», выкрикивал последнее слово, будто обвинял мир в отсутствии личностей. Немецкие слова выговаривались плохо и «хохстес глюк» постепенно превратилось в «ох ты глюк», а «дер эрденкиндер» стало «дыриндер», а от «ист нур ди» осталось только «и». Сохранилось без изменений только волшебное слово «персонлихкайт». Заклинание стало звучать так: «Ох ты глюк дыриндер и персонлихкайт!»

Подойдя на перемене к Любе Василенко, Фридрих сделал значительное лицо и спросил:

– Тебе, Любовь, прочесть стихи Иоганна Гёте? – и, получив утвердительный ответ, выпалил: – Ох ты глюк дыриндер и персонлихкайт!

– А перевести можешь?

– Это стихи о том, что не каждый может стать личностью, но только тот, кто подвергает все сомнению.

– Здорово!

– Подвергать сомнению следует все, но в разумных пределах. Правила таблицы умножения сомнению не подвергают.

– Про это в стихах сказано?

– Я прочитал главную строку. Про то, что надо побороть звериное начало и стать личностью. Ох ты глюк дыриндер – значит: откажись от животного начала в себе! И стань Личностью, человеком с большой буквы. Персонлихкайт, если хочешь по-немецки.

Люба Василенко заворуженно смотрела на Фридриха.

– Немецкий – это язык мысли, – заметил Фридрих. – Емкий, сдержанный, логичный.

– Как красиво.

– Я обязательно выучу немецкий и, может быть, даже свой роман напишу по-немецки.

Он всем, с самого детства, говорил, что напишет великий роман. Все это было шестнадцать лет назад – а сейчас отец его умер, они с Любой уже двенадцать лет женаты, вот Паше десять исполнилось, и роман он не написал. А теперь еще и война с Германией.

В газете «Вечерняя Москва» Фридрих Холин должен был сочинять отчеты о жизни прифронтового города – ведь Москва стала прифронтовым городом. Быть советским журналистом и носить имя «Фридрих» стало неудобно. Обнаружилось, что помимо поэта Фридриха Шиллера – имелись еще Фридрих Ницше, который придумал теорию сверхчеловека, и Фридрих Паулюс, гитлеровский генерал. Да еще оказалось, что план нападения на Россию называется «Барбаросса» по имени императора Фридриха Барбароссы, который некогда возглавил крестовый поход. Теперь представляться Фридрихом было неприятно – и Холин подписывался инициалами, чтобы не писать немецкое имя. Впрочем, вскоре он понял, что вся газета состоит сплошь из инициалов.

Газета «Вечерняя Москва» от Московского комитета ВКП(б) и Моссовета, орган печати, москвичами любимый – ответственность огромная. «Пиши проверенные данные, десять раз проверь!» – говорит редактор, но зачем проверять, если ничего конкретного не пишем? Все полгода сводки о боях писали так: «В боях под станицей М. подбиты 18 танков и 25 бронемашин противника... Под селом Н. в боях уничтожено 30 единиц техники».

Эти заметки Холина пугали. Он стал складывать цифры и получил ошеломляющий результат: за первую половину осени фашисты потеряли около шестисот танков – а это целая армия, даже Холин знал. Армия танков горела под Москвой – но почему-то название села указано невнятно. Он спросил у заведующего отделом Щетининой:

– А почему не даем названия села полностью? Шифр зачем?

– Ты хочешь всех оповестить о расположении советских войск? Это, может быть, военная тайна.

– От кого тайна?

– От немцев.

– Неужели немцы сами не знают, где потеряли шестьсот танков?

– Откуда ты взял шестьсот танков?

И Холин стал думать, что причина в другом: вероятно, бои слишком близко от Москвы – и в газете боятся дать реальное название села, чтобы не напугать москвичей. Но если бой победный, почему же не сказать? Ведь радостно знать, что победили! Кому-то станет спокойней за родных. А кто-то захочет поехать туда, поговорить с бойцами. Ведь много пишут про союз тыла и фронта. Вот, например, его жена Люба отвезла бы артиллеристам кастрюлю супа. Так почему же не указать название села?

Вот, скажем, статья о партизанах Югославии. Написано: «В Ягодине уничтожена авиационная база» – это понятно. «В Загребе взорван склад боеприпасов» – тоже понятно. Так там партизаны, в Загребе, им уж точно скрываться необходимо. А у нас регулярные войска.

И вдруг он понял, что это все выдуманные истории: нет никакого села М., нет никакого села Н. Не было победного боя, не подбили семнадцать танков, и восемнадцать танков не подбили тоже. Ничего вообще не подбили, не подожгли бронетехнику врага, катится армия назад, вот уже ставят ежи противотанковые на Можайском шоссе, вот уже и окопы роют. Подбили двести единиц техники у села М.! Покажите, где же это село! Господи, зачем так врать!

Заметки писала лично Фрумкина, ответственный секретарь газеты. Первую половину дня она тратила на собственные сочинения, потом занималась проверкой чужой работы. Страшная Фрумкина, главный цензор Главлита, была переведена в их газету на пост ответственного секретаря дабы вычищать вредные элементы, оставшиеся от политики Зиновьева. Ираида Аркадьевна Фрумкина была особой низкого роста, ходила на кривых ногах и курила папиросы «Тройка». Зубы у нее были желтыми от никотина, а глаза черными, и в ее глазах не отражался свет. Фрумкина подолгу смотрела своими пустыми цепкими глазами в глаза сотруднику, затягивалась желтым дымом, и сотруднику делалось страшно. Посмотрев с минуту неподвижным взглядом, Фрумкина говорила сотруднику: «Здравствуйте», – и проходила мимо, загибая пол кривыми ногами. Никто вслух этого не произносил, но все знали, что в Главлите состав редакции заметно поредел после доносов Фрумкиной. Популярного в Москве журналиста Бориса Сиповского забрали прямо из здания Главлита, зашли в комнату редакции, сказали: «Пройдемте, Сиповский», – и Сиповский прошел. А Ефим Гулыгин, заместитель Фрумкиной, повесился, просто взял – и повесился. Гулыгин жил в коммунальной квартире на Татарской улице, дом номер семь. Жиличка из комнаты напротив хотела одолжить у него денег до вторника (у нее во вторник получка), стучала, звала. Женщина настырная, просунула карандаш в дверную щель, откинула крючок – а он, голубчик, на батарее парового отопления висит, язык вывалил. В чем таком провинился Гулыгин, сотрудники «Вечерней Москвы» не знали – а что повесился, знали отлично.

Ираида Фрумкина читала всякую статью, не пропускала ни единого короткого сообщения без подробного осмотра, она не полагалась ни на редактора, ни на корректора. Читала тексты долго, медленно водя выпуклыми вороньими глазами по строчкам. Со стороны казалось, Фрумкина ощупывает строчки глазами, берет каждую букву, вынимает из слова, раз-

минает, потом ставит на место. На лоб Фрумкиной падала черная челка без единого седого волоска, бодрая такая челочка, боевая, и Фрумкина иногда встряхивала головой, откидывая челку, чтобы не мешала видеть страницу. В этот момент лицо ее делалось задорным, веселым, и казалось, что с ней можно договориться. В один из таких моментов Холин изловчился и встрял с вопросом, зачем так подолгу смотреть на страницу? Фрумкина медленно осмотрела лицо Холина, вода пустыми глазами по его чертам точно по газетным строчкам. Потом сказала:

– Я или делаю свою работу хорошо, или не берусь ее делать совсем, – и опять принялась медленно ощупывать глазами лицо Холина. Ощупала, отвернулась к странице, стала щупать страницу.

Заметка Холина, которую она изучала, называлась «Большой день», и в ней описывался парад на Красной площади Седьмого ноября. Начиналась заметка словами «Падал снег». Фрумкина медленно ощупала эту фразу, перешла к следующей: «Небо, набухшее тучами, не было ярким». Потом прочла следующую: «Но удивительно светлым выглядел этот день в столице». Ощупала и эту фразу.

Дошла до последнего абзаца: «Грозные слова об истреблении всех немцев, пробравшихся в нашу страну для ее порабощения, вновь вызвали гул одобрения народа. «Верно! Надо истреблять! Всех до единого!» И долго, дотемна бурлили улицы великого города в праздничном оживлении». Фрумкина смотрела на этот абзац немигающими вороньими глазами, долго щупала слова.

– Фраза ваша. Про немцев, пробравшихся в нашу страну. По-вашему, немцы пробрались?

А как сказать? Прорвались? Явились? Пришли? Холин не знал, что ответить.

– Пробрались. Воровски.

– Я думала, фашисты напали. А вы пишете – пробрались.

Помолчали.

– В другой заметке (на третьей странице очерк Холина «Герои зенитчики», интервью с лейтенантом Жильцовым) фраза: «Фашистские летчики стали подкрадываться к Москве». Самолеты, по-вашему, подкрадываются?

– Ну, их не ждали, а они внезапно...

– Вот как. Подкрались самолеты. Еще одна фраза ваша. «Долго, дотемна» – как понять?

– Я хотел сказать, что люди на площади гуляли долго, до наступления темноты.

– До наступления темноты – это и означает, что гуляли долго.

И молчит, смотрит, медленно водит глазами.

– Фраза ваша. «Гуляли в праздничном оживлении».

– Люди гуляли в оживлении, – вяло подтвердил Холин, а сам подумал: а как еще гуляют дотемна – без оживления? Хотя, если вдуматься, какое оживление в мороз?

– Гуляли в праздничном оживлении. Странно звучит.

– Так ведь праздник у людей... оживились... – а сам подумал: ничего себе праздник, прямо с парада идут на фронт, а фронт за углом. И метель. – Изменить предложение?

Помолчала.

– Оставьте как есть. Это приметы авторского стиля, – и смотрит внимательно.

Непосредственно рядом с его заметкой была опубликована заметка редакционная – их, как правило, писала сама Фрумкина – «Смелый налет на вражеский аэродром». И пока Фрумкина читала его текст, Холин прочитал статью Фрумкиной. «Летчики-штурмовики энской авиачасти ознаменовали XXIV годовщину Великой Октябрьской революции смелым налетом на вражеский аэродром. Получен боевой приказ: уничтожить фашистскую авиабазу в пункте Р. Ни одна машина с паучьей свастикой не успела подняться с поля. Все фашистские самолеты были сожжены». Сухо пишет Фрумкина, в ее строчках никакого оживления, все

по существу. Но что это за существо? Как это понять, господа? Если уничтожили вражеский аэродром, то почему не сказать, где именно аэродром находится? И вот еще одна заметка: «В районе В. младший лейтенант Матюшин сбил «Юнкерс-88» и «Мессершмитт-109». Молодец Матюшин, меткий. Только где этот район В.?

Какая странная газета, думал Холин, пряча взгляд от Фрумкиной.

Фотография поперек полосы: трибуна Мавзолея, на трибуне Комитет обороны в полном составе принимает парад. В самом центре – Буденный с огромными усами. И рука у Буденного большая, в варежке, маршал машет войскам: вперед, мол, на бой! Рядом рослый Каганович в мерлушковой папахе и в пальто с воротником из мерлушки. Никогда бы не подумал Холин, что Каганович такой большой, а рядом с прочими он, оказывается, великан! Тоже рукой машет, рука в тугой перчатке. Подле них Берия в широкой грузинской кепке и обычном пальто, без воротника. Берия руками не машет, на войска не смотрит, просто смотрит перед собой. Хрущев в кепке, кепка сдвинута на затылок. Лицо у Хрущева вялое, замерзшее, щеки повисли. Холодно им там стоять, на трибуне. Сорок градусов мороза, воздух белый от холода – каково это в кепочке простоять несколько часов в метель? Но стоит Хрущев, не шевелится, щеки заиндевели, белые совсем щеки на фотографии. Рядом Хрущевым стоит Молотов в меховом пальто, усики подстрижены, очки блестят, он весь аккуратный, закавыченный, как выверенная цитата. А Маленков без перчаток, холодно ему, пальцы свело от мороза. Почему же он без перчаток? Перчаток для Маленкова не нашлось? Так спешил на парад, что перчатки не успел взять? Маленков, как говорят, второй человек в Комитете обороны – если где совсем трудно, шлют его. А вот лицо у него рыхлое, дрожащее, бабье, губы пухлые и сложены бантиком, и фуражка какая-то нелепая: с широким околышем, как у моряка торгового флота. Нет, не спасет такой человек в трудную минуту.

Вот у Сталина фуражка армейская, строгая. И шинель солдатская, сидит на нем ладно. Лицо у наркома спокойное, взрослое лицо, ответственное. Народный комиссар Комитета обороны стоит не в центре, он встал немного сбоку, но руку поднял выше всех, привлекая внимание. Наверное, Сталина сфотографировали в тот момент, когда он начал говорить праздничную речь. Нарком поднял руку, чтобы люди сосредоточились и слушали. Под фотографией и речь напечатана.

Кто в те годы не слышал голос Сталина – а раз услышав, мог забыть? Холин хоть и не слышал этих слов из репродуктора (а странно, что не слышал: речь девять раз повторили за день), но медленный тяжелый голос наркома отдавался в его сознании – голос успокаивал, а смысл сказанного тревожил.

«Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики». Эту фразу Сталина каждый может отнести к себе, во всяком случае Холин понял, что Сталин имеет в виду конкретно его, перепуганным интеллигентиком был он сам. Он уводил глаза от фрумкинских вороньих буркал, но ведь она все чувствует, она ощупывает его лицо и понимает, о чем думает Холин. А Холин не понимал, как это так получается, что каждый день уничтожают рекордное количество техники, а враг все ближе. Сталин сказал с Мавзолея: за четыре месяца войны Германия потеряла четыре с половиной миллиона солдат. А сколько всего в Германии народа живет, интересно? Сколько солдат в армии у них, кто скажет? Наверное, уже почти всю армию перебили. «Уничтожены лучшие дивизии и лучшие части» – но скажите, сколько осталось? Уничтожили сто машин с пехотой, сто машин с боеприпасами, еще двадцать танков, еще пятнадцать танков, еще восемнадцать машин с пехотой, – ведь если все посчитать, у них ни машин, ни людей уже не осталось. А они все ближе и ближе. Как понять? А вот поразительная строка в соседней статье: «Уничтожили 200 танков противника». Это же форменный разгром! Уничтожили 200 танков у станции М.!

И так пишут каждый день, вот за вчерашний день, судя по газетам, подбили пятьдесят танков, а сегодня аж двести тридцать пять. А если все сожженные немецкие танки посчитать – получится больше тысячи.

«Еще несколько месяцев, полгода, может быть, годик – и Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений». От этой фразы только страшнее делается – потому что фраза туманная. Что за слово такое – «годик»? Сталин взял паузу перед тем как произнести «может быть, годик» – а потом проронил слова сквозь усы, небрежно сказал, презрительно: «полгода... может быть... годик». Слово «годик» Холина покорило. Повоюем еще годик! Ничего себе! Так можно сказать про что-то другое, скажем, «поживу у тети годик». Еще годик войны – как это понять? Нет, не понимаю. И сколько же немцев мы убьем, если еще годик повоюем? Прикинул, получилось, если такими темпами фашистов убивать, еще десять миллионов точно убьем. Видимо, так в Комитете обороны и подсчитали, когда сроки устанавливали – к этому времени всю гитлеровскую армию перебьем, тогда можно и войну заканчивать.

Холин чувствовал нечто недостоверное в речи наркома – газетчик обязан чувствовать неточность – и чувствовал он так не зря. К моменту нападения на Советский Союз общая численность вооруженных сил Германии составляла 8,5 миллиона человек, из них в Восточной группировке войск Германии и ее союзников находилось 5,5 миллиона человек, в боях было задействовано 47 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков и около 5 тысяч боевых самолетов. Иными словами, если бы за четыре месяца боев с Россией погибли четыре с половиной миллиона гитлеровцев, то группам «Норвегия» (той, что дралась за Мурманск и районы выше по карте), «Центр» (той, что занимала фронт от Голдапа до Влодавы, отвечала за захват Белоруссии, Смоленска, Москвы), «Север» (той, что шла на Ленинград) и «Юг» (той, что двигалась по всему фронту на Правобережной Украине), – всем этим группам германских войск пришел бы конец. Если бы за четыре месяца уже подбили тысячу танков, наступление врага захлебнулось бы, – но цифры эти действительности не соответствовали. Сталин говорил неправду, и Сталин врал с таким перехлестом, что даже Семен Буденный (человек, влюбленный в Иосифа Виссарионовича) дернул щекой. А вот Вячеслав Молотов не шелохнулся. Да, речь прочитают многие, в том числе союзники. И скажут, что цифры неверны. И что с того? Он, нарком иностранных дел, отлично знал, что врут все и всегда, он знал, что, как и где соврали Черчилль и Рузвельт. Так уж устроено, полагается врать, соврем и мы сегодня. Ну да, четырех с половиной миллионов немцев мы не убили. Все обстоит ровно наоборот. Потеряли миллион своих, и два миллиона наших солдат попали в плен. И еще на захваченных противником территориях остались примерно два с половиной миллиона потенциальных призывников – итого потерь примерно пять миллионов за четыре месяца. Кому надо это знают. Но сегодня уместно сказать то, что говорит Сталин. Сталин превосходно знал, что среднесуточные безвозвратные потери составляют две тысячи триста двадцать человек – или, выражаясь русским языком, каждый день убивают две тысячи триста двадцать русских людей. И это только на западном направлении, это без учета того, что делается на захваченных территориях, где айнзацкоманды проводят массовые расстрелы и жгут заживо, это без учета голода в осажденных городах, без учета боев на юге и севере. Это без учета бомбардировок наших заводов на Кавказе, наших верфей в Севастополе, наших городов в Донецком бассейне. Только здесь, на фронте длиной шестьсот километров, убивают каждый день столько народу. Председатель Государственного комитета обороны знал, сколько убивают. Но с народом надо говорить именно так, как говорит он, – весомо, спокойно, с паузами, взвешивая каждое слово неправды. Надо медленно и убедительно говорить неправду, и она станет необходимой правдой. Что полезнее сегодня, в осажденном городе, в мороз, в метель? Знать, сколько конкретно твоих сограждан погибло, – или что мы уже громим врага?

Почему не предвидел заранее, что фашисты нападут, почему допустил вероломное нападение, почему не угадал точное время – его еще спросят об этом. И спал, когда Жуков позвонил, и в себя пришел не сразу. Молчал, слушал слово «война». «Война, товарищ Сталин!» А он молчит. Еще раз, громче: «Война! Бомбят советские города!» И объявил о войне по радио не он, Молотов объявил о войне. И уже кто-то пустил слух, будто он, растерянный, не выходил с дачи. И скажут: пил. Он не пил, не прятался, в первый день принял двадцать пять человек, одного за другим, спать не ложился. Все равно скажут: пил. И спросят: а что ж ты не подготовился? А если побоятся спросить в глаза, спросят шепотом, друг у друга. Спросили бы они у Александра, почему дал Бонапарту дойти до Москвы, почему отдал Смоленск, почему проспал осеннюю кампанию? А потому, что другого способа нет в России воевать, не придумали еще другого способа – пусть враги войдут и пройдут как можно дальше вглубь, пусть увязнут в России, пусть застрянут в степях. Попробуй удержи Бонапарта! И Барклай не мог, и Кутузов... А у него нет Барклая, нет у него Кутузова, нет теоретика арьергардных боев, нет гения отступательной войны, нет парфян и братьев Горациев, да и не знает здесь никто про битву братьев Горациев, а есть только механизированные кавалеристы, авторы наступательных теорий.

Генерал Мерецков, которого Сталин помнил еще по Гражданской войне – кавалеристом, Мерецков, проломивший в 1940 году линию Маннергейма, но оставивший в лесах Финляндии тысячи убитых, с подобострастием спросил его две недели назад: «Вы, товарищ Сталин, сознательно выбрали стратегию Кутузова?»

Это была обдуманная, хорошая лесть. Правильно спросил Мерецков, вовремя вспомнил. Вот оно как теперь будет называться – «стратегия Кутузова»! Сталин выслушал вопрос, помолчал, давая время Мерецкову понервничать, зажег трубку, походил туда-сюда, подымил. Потом объяснил. Объяснил подробно, так, чтобы бывший кавалерист Мерецков донес информацию до друзей:

– Отступление армии Кутузова и сегодняшнее отступление советских войск продиктованы необходимостью, товарищ Мерецков. Если бы Михаил Кутузов мог разбить Бонапарта в одном-двух сражениях, он бы, думаю, так и поступил. Я лично считаю, что Михаил Кутузов такого шанса упускать бы не стал. Но разбить Бонапарта Кутузов не мог, и поэтому он должен был отступать. Если бы наши войска могли обратить Гитлера в бегство, они бы это сделали. Непременно так бы и поступили. И мы стараемся давать бои гитлеровским войскам там, где есть малейшая возможность удержать поле боя. Разница между тактикой того времени и сегодняшней состоит в том, что мы не оставляем без боя ни один город. Ни один населенный пункт. Если есть возможность обороны дома, советские граждане бьются за каждый дом. Мы изматываем противника боями. Но мы вынуждены пока что отступать. Временно. А в остальном вы правы, товарищ Мерецков, наше отступление напоминает кутузовское. Очень верно подмечено.

Выпустил облачко желтого дыма, помолчал, повторил:

– Очень верная мысль.

И посмотрел на Мерецкова своими желтыми глазами. Кавалерист! Теоретик!

Даешь Варшаву, прорвать линии обороны противника на всю глубину наступательной операцией! Теоретики! Пусть спасибо скажут, что хоть так, с такими вот потерями сумели отойти. Это ведь Ленин их так научил. Его манера, бурное фразерство. «Архиважно взять Варшаву в предельно короткие сроки» Ну, бери, коли можешь. Большие потери за полгода войны – а вы как хотели? А вы бы хотели, чтобы положили вообще всю армию за неделю? Вы бы хотели короткой французской кампанией? Только ведь Гитлер уже не придержит танки Гудериана, как под Дюнкерком, когда он дал улизнуть англичанам, – нет, он пришел, чтобы давить и жечь. Сколько, говорите, потерь? Три миллиона? Пять? А вы бы хотели сразу тридцать положить? Еще положим, дайте срок. Пусть спасибо скажут, что успели раздвинуть

границы до границ екатерининской державы, удлинит танкам Гудериана дорогу, заставит пехоту маршировать по длинной и глубокой России. Ничего, русский народ потерпит, мужики умеют терпеть. Сегодня надо им сказать, что мы уже побеждаем, и это не ложь, это настоящая правда – надо лишь понимать, что такое общая правда, а что такое правда одного дня.

Сталин стоял на Мавзолее прямой и надменный, и малый рост его казался Молотову монументальным. Учись, Буденный, это тебе не на лихом коне скакать. Молотов не позволил себе повернуть голову в сторону Буденного. Он чуть скривил губы под аккуратными усами и скосил презрительный глаз на нервного Буденного. Уймись, кавалерист, стыдно. И Буденный понял, пригладил рукавицей усища, подтянулся, просиял. Еще годик повоюем!

Холин, перепуганный интеллигентик, читал речь Сталина и сравнивал ее положения с заметками на той же полосе. Вот, допустим, заметка – ее поставили справа от речи наркома обороны. «У станции Р. остановили врага». Где эта станция Р., возле которой врага остановили? А возле других станций что, не остановили?

И совсем странно сказано в отчете о параде: «Для участия в воздушном параде было подготовлено 300 самолетов. Но из-за неблагоприятных погодных условий старт грозной воздушной армады пришлось отложить». Самолеты не взлетели из-за пурги. Даже на параде самолеты не взлетели – а как же они в бой взлетают? «В параде приняли участие грозные танки. Их было 200!» И восклицательный знак – потому что это очень много! – целых двести танков! Но позвольте, 200 танков – это ровно столько, сколько подбили фашистских танков на станции М. Немцы такое количество танков ради какой-то безвестной станции теряют – и ничего! Но если для немцев двести танков – это пустяк, значит, на параде было пустяковое количество танков. Зачем же все это на одной странице давать? И – страшно, оттого что ничего не понятно.

Вот стоят они на Мавзолее – они-то хоть понимают, что творится?

Сталин щурился с фотографии, смотрел желтым своим рысьим глазом. Два месяца назад обменялся он письмами с британским премьер-министром Черчиллем, попросил помощи. Черчилль прислал ему шесть писем, Сталин в ответ – два. А что толку было писать? Третьего сентября написал председатель Совета министров, что Советский Союз «стоит перед смертельной угрозой», и попросил начать активные боевые действия на Балканах или во Франции, чтобы оттянуть хотя бы 30 германских дивизий. Черчилль ответил через три дня – написал, что они смогут вернуться к этому разговору после успешного завершения британской операции в Африке. В Африке в те дни было задействовано около тысячи британских танков и более 700 самолетов – втрое больше, чем под Москвой, – решалась судьба итальянской Ливии, важной колонии, под кем ей быть. Через семьдесят лет операцию против Ливии проведут снова – назовут «Одиссей», а тогда операцию назвали «Крестonosец». Сталин прочитал это письмо, никак не отреагировал. Двадцать второго июня Уинстон Черчилль сказал пламенную речь, в частности сказал и такое: «Каждый, кто борется против нацизма, получит нашу помощь. Мы предложили России любую техническую и экономическую помощь, в которой она может нуждаться». Вот, попросили его, два месяца прошло и попросили... Солгал... Солгал англичанин... Каждый день стоил года; Сталин написал еще через неделю – попросил помощи опять. В те дни маршал фон Бок вышел к Туле. Четвертая пехотная армия группы «Центр» была под Нарофоминском. Сталин попросил у Черчилля военной помощи – прислать в Россию британские дивизии, как некогда посылала Британия солдат во Францию. Шли дни, а Черчилль молчал, а дни были тяжелые. Через две недели Черчилль написал, что со временем будет готов «изучить любую другую форму поддержки», но лишь после того, как война в Ливии будет выиграна. И опять Сталин промолчал, на следующие два письма Черчилля не ответил вовсе – писать было уже нечего.

Газеты не сказали ни слова про эту переписку, Сталин сурово смотрел с фотографий, а про Черчилля и британскую войну в Ливии журналисты не писали вовсе. В одной газете упомянули Тобрук, потом написали про полуостров Киренаику – и Холин еще спросил: а где это, Тобрук? Почему-то подумал про Монголию. Оказалось, в Ливии. И про действия Японии в Тихом океане, про японо-американские переговоры тоже писали мало. Если вспомнить, что Халхин-Гол был вчера, а самураи злопамятны, вопрос возникает сам собой – вдруг еще и оттуда ударят враги? Что-то там у японцев с Таиландом? Флот-то они какой отгрохали! Как на это американцы посмотрят? Спросил корреспондент Кобыляцкий на летучке, какие материалы идут по событиям в Японии, а Фрумкина ему ответила: «Вы, Кобыляцкий, беспокоитесь за американский империализм или за самураев?» Черчилль успеха в Ливии не добился: британцев громили и гнали – точь-в-точь как два года назад по Северной Франции. Но не интересовала никого Ливия, и Тихий океан не беспокоил особенно, даже Британия занимала не очень. Интересовало другое. Как так случилось, что за полгода все поменялось? Вслух спросить было страшно – а про себя думали.

Вчера еще в их газете писали, что Гитлер – друг. Почему так писали – непонятно. Если задуматься хоть на минуту, несуразность союза с фашистской Германией очевидна: как может государство, которое хочет равенства всех людей, заключить союз с государством, которое заявляет, что люди друг другу не равны? Это ведь очевидно. В России говорят, что человек не может угнетать человека, и коллективизацию мы провели, чтобы не было даже незначительного угнетения в деревнях. Мы не могли допустить, чтобы были рабы и господа, – вот и раскулачили зажиточных крестьян, мироедов. И правильно сделали. А в Германии говорят, что одни люди рождены господами, а другие рождены – рабами. Как нам договориться? Непонятно. Даже, допустим, они нам скажут, что мы не рабы. Но ведь кого-то другого они все равно будут считать рабами. Разве мы можем с этим смириться, если мы с кулачеством не смирились? Непонятно.

Непонятно, почему мы прозевали начало войны. Приехал корреспондент газеты «Красная звезда», человек информированный, рассказал, что генерал Павлов в день нападения пошел оперу слушать. И даже связь в театр провели, поставили в фойе театра телефон, наладили линию с Верховным штабом на случай экстренных звонков из Москвы. И, мол, генерал с женой в ложе сидел, но ординарец к ним заглядывал регулярно: дескать, пока не звонили. Из Москвы-то не позвонили, а вот из Берлина прилетели – не тот телефон Павлов установил. Генерала быстро привезли в Москву, судили и расстреляли, говорят, он перед расстрелом выпил бутылку коньяка для храбрости. Впрочем, виноват ли он, непонятно.

Непонятно – это когда видишь, что все вокруг плохо, совсем плохо, а выхода нет. Кто-то внушил в школе, что задачи имеют решения. Сложил два и два, получил ответ, а если затрудняешься, подсмотрел в конце учебника. Чепуха: настоящая задача – это такая, когда нет никаких решений. Если бы решения были, о, что бы это была за жизнь! Но решений нет! Вот в чем штука, нет их! Жизнь и история специально так устроены: решения нет, а надо действовать. Кого бросить – Анну или Любу? Как поступить? Пригласите умного ученого, пусть подскажет, которую из них двоих сделать несчастной.

До того как стать любовницей Анна была другом дома целых пять лет – приходила к ним на праздники и детские дни рождения. Как всякая бездетная женщина, она не знала, как вести себя с детьми, выражала заботу о ребенке так шумно и неловко, что мальчик плакал, а Люба мрачнела. На детских праздниках главным героем делалась Анна – так хотелось ей сочинить что-нибудь чрезвычайно необычное. Анна приходила с подарками и обижалась, если мальчика не будили, чтобы эти подарки вручить. Поджимала губы, страдала, и тогда Холин будил Пашу, выносил его к госте, сонный ребенок тарасился на непонятный сверток.

– Вот это тебе, Пашуня, добрая тетя Аня принесла!

Анна заворачивала маленькую деревянную лошадку в сто бумажек:

– Разворачивай, разворачивай, Пашуня! Там спрятанный сюрприз! Видишь, Люба, ему нравится такая игра, это же его день рождения, должна же быть игра!

Паша плакал, родители ждали, пока Анна наиграется с ребенком.

– Ты разворачивай бумажки аккуратно, Пашуня! Не рви! Не торопись! Не надо рвать бумажки! Тетя Аня устроила тебе праздник.

Ребенок рыдал, дергал обертки, обертки не кончались.

– Надо иметь терпение, дорогой!

– Дайте скорее мальчику ваш подарок, ему пора спать!

– Нет уж, пусть он сам до него доберется!

– Ребенку пора спать! Не издевайтесь над мальчиком!

Глаза Анны становились влажными. Она хотела хорошего, она очень старалась. Она была уверена, что семья веселится, всякий раз придумывала что-то исключительно занятное. Очевидно, что Люба ревнует ее к мальчику, она ведь сама – даром что мать! – не подарила ему лошадку! Родить – это полдела, но хорошо воспитать, вот что важно. Мать не догадалась – а это так просто, надо лишь иметь фантазию! – завернуть лошадку в сто оберточных бумажек. Анна запомнила, что на прошлом дне рождения мальчик говорил про лошадь с настоящим хвостом, и вот достала такую лошадку. А на оберточных бумажках нарисовала елочки и зайчиков, очень трогательные рисунки. Детей она не умела любить, но ей очень хотелось любить детей, это было одним из тех удовольствий, которых ее лишили в жизни, – у нее не было семьи, мужа, работы по специальности, детей. И ей казалось, то, чем она сейчас занимается с Пашей, будя его и заставляя разворачивать бумажки, и есть любовь к детям. Если бы Паша был ее сыном, она сумела бы сделать каждый его день праздником – ведь ребенку достаточно мелочи, пустяка, бумажки. Ребенка надо понимать! Паша плакал, Люба хмурилась, Анна кусала губы. И Холину было жалко всех сразу – но отчего-то Анну жалче прочих.

Он выходил проводить Анну – та жила недалеко, в получасе ходьбы, поднимался к ней выпить чаю. Анна говорила с ним о литературе – интересовалась поэзией. Потом они стали любовниками. Не было страсти, не было влечения – он прижимал Анну к себе, и это было простейшим способом оградить ее от жизни. Детей у нее нет и уже не будет, и жизнь у нее такая, какая есть, что уж тут менять, но он обнимал ее, и обоим становилось спокойнее. Люба быстро узнала про эту связь и сказала ему:

– Женись на Анне.

– Не могу. Не могу без тебя.

– Так не бывает.

– Бывает.

– Но я так не согласна. Тебе надо уйти.

Он хотел ей рассказать про любимого Маяковского, про его предсмертную записку: «Товарищ правительство, моя семья это Лиля Брик и Вероника Витольдовна Полонская. Если устроишь им сносную жизнь, спасибо». Но не сказал, подумал, что из-за этой вот кривой семьи – «Лилия, Ося, я и собака Щеник», а еще тут и Полонская появилась, – из-за этой вот семьи поэт и застрелился. Не хотел говорить про Маяковского, но все же не удержался, сказал:

– Вот Маяковский любил Лиллю Брик, а у Лили был муж Осип, а еще он любил Веронику Полонскую.

– Вот и вышло у него не как у людей, – ответила Люба.

Однако Холин не ушел. Он сказал, что нужен Паше, сыну. Все стало непереносимо. И тягостная связь с немолодой женщиной не кончалась несколько лет. И он все думал, что

однажды исправит положение. Сделает усилие, невероятное духовное усилие – и все объяснит, как не сумел объяснить Маяковский.

– Ты был хранитель моей чести, – сказала ему Люба однажды. – И не сохранил.

Он сумеет, он докажет, он сохранит ее честь. Но началась война, и он ничего объяснить не успеет.

Три месяца шла война, и каждый вечер он ходил прощаться к Анне, а потом возвращался и сидел подле сына. Он говорил себе, что никогда от семьи не уйдет, а потом наступал новый день, он шел к Анне, и все начиналось снова. Это временно, говорил он себе, сейчас такой момент – прощание. Непонятно было – сколько дней отпущено на прощание.

«Непонятно» – слово, которое он говорил себе много раз за последние пять лет.

Непонятно было, когда исчез сосед по этажу, отец Сергея Дешкова, кавалерист Григорий Дешков. Отец Сергея был героем, это знали все. К нему в гости приезжали большие чины, ставили «Паккарды» поперек дороги. Орден не носил, но все знали, что орден не счесть, – а сам не гордый, с соседями здороваётся. Отец Сергея Дешкова преподавал в Академии имени Фрунзе, он проходил через двор в расстегнутой тяжелой кавалерийской шинели, полой шинели ворошил кусты барбариса, перекачивал во рту папиросу. Он снимал фуражку, вытирал лоб, поднимался по лестнице, не держась за перила – хотя нога была больная, он странно выворачивал левую ногу при ходьбе. Но всходил по лестнице быстро и до перил никогда не дотрагивался. Открывал перед женщинами дверь подъезда, даже перед его женой Любой открывал дверь, даже перед Марьей Антоновной, жиличкой из подвала, дверь открывал – а сам генерал, ну или почти что генерал! Они жили на одной лестничной площадке и регулярно здоровались. Часто так случалось, что Холин выходил за порог как раз в тот момент, когда сосед поднимался по лестнице, и они раскланивались – стоя каждый перед своей дверью.

Однажды, перед тем как войти к себе домой, сосед повернулся к Холину, резко спросил:

– А вот представь: начнется война, и надо будет спасать одну из них. Надо выбрать. Быстро. Двух взять в эвакуацию не дадут. Ты какую из них возьмешь? У Любы сын. А у другой?

Фридрих Холин не нашелся что сказать, опешил. Откуда-то сосед знал о его терзаниях, что-то подслушал. Он не имел права так спрашивать, привык офицеров жучить в академии, но Холин ему не подчиненный, нет! Сосед больше не проронил ни слова, позвонил в дверь. Открыла домработница, засуетилась, принимая у Дешкова портфель и шинель. А потом старший Дешков пропал, перестал ходить через двор. И кто-то сказал: «Шпион».

Непонятно, как себя вести по отношению к соседям. Сталин даже сказал (а «Правда» это высказывание опубликовала 3 марта 1937 года): «Случается, что товарища, который прошел по улице, где когда-то жил троцкист, сразу же исключают из партии». Сталин сказал так, желая остановить поток ложных доносов – но число доносов возросло. И даже легко представить, сколько едкой иронии вложил вождь в эти слова: есть среди нас торопыги, всякие «бухарчики», которым только волю дай, они в борьбе с троцкизмом и мать родную со свету сживут. Холин понимал, что слова Сталина истолкованы неверно: вождь хотел остановить поток доносов – а чиновники и обыватели решили, что надо доносить на всех, даже и на тех, кто прошел по улице, где жил троцкист. Но ведь не растолкуешь каждому. И если живешь напротив троцкиста – дверь в дверь – как быть? Они всегда по-соседски дружили с Дешковыми, но вдруг стало непонятно, можно ли дружить после ареста старшего Дешкова – с его сыном.

– Ты сам решай, – сказал ему Андрей Щербатов, работник НКВД, проживающий в подвале. – Мне лично общаться с ним разрешено официально, но имей в виду, на это я получил специальное разрешение.

– Извини, Щербатов, – сказал ему Холин, – я как-нибудь без разрешения обойдусь.

Сказал резко, и стало страшно: что делаю, ради чего рискую? Выходя на лестничную клетку, опасливо ждал – вдруг сейчас из двери напротив появится Сергей Дешков, что тогда? Непонятно.

И как быть с двумя испуганными женщинами – непонятно. Лучше умереть, чем выбирать, какую из двух спасти, думал Холин. На фронт надо ехать, вот все и станет понятно. Уедет он на фронт, останется прошлая жизнь позади – и семья, и Анна, и дорогой его сердцу дом, отцовская квартира.

Фридрих Холин трогал шкаф и говорил тихо: «До свиданья, мой милый шкаф». Гладил полированные временем створки шкафа и говорил: «До свиданья, до свиданья». Трогал стол и говорил: «До свиданья, милый стол. Мы уже не увидимся с тобой, а я так тебя любил». И он гладил стул и говорил: «До свиданья, добрый друг стул. Пришла пора уходить из дома – уходить навсегда. Ведь война так надолго, что это почти навсегда. С таких войн не возвращаются».

Со слов Сталина было понятно, что война надолго, а репортажи Фрумкиной о победах – вранье. Он изучал газеты, старался найти закономерности и понять, что происходит на самом деле. Много позже советские интеллигенты стали культивировать это умение читать между строк – Холин пытался освоить чтение между строк уже в ноябре сорок первого. Получалось плохо.

В отличие от того, как это себе представлял Холин, Сталин был сфотографирован не в тот момент, как начал говорить, а несколько позже, когда он поднял руку, приветствуя танки. Танки, пройдя под Мавзолеем, двигались к фронту. Танков у Советской России было даже больше, чем у Германии, и советские танки были лучше, легче, маневреннее немецких, все это признавали. Только воевать на этих танках не получалось. Сталин поднял руку в приветствии танкистам, а сам вспоминал слова генерала Еременко. Еременко был поставлен командующим Западным фронтом – на смену расстрелянному Павлову, а в августе получил назначение возглавить Брянский фронт. Принимая командование Брянским фронтом – это было в августе, – Андрей Иванович Еременко заявил председателю Государственного комитета обороны: «Да, враг безусловно очень силен, даже сильнее, чем мы ожидали, но бить его, конечно, можно, не так уж это сложно. Надо лишь уметь это делать!» Сталина предупреждали, что Еременко хвастун и позер, но как это часто бывает, предупреждали об этом качестве товарища такие же хвастуны и позеры. «Значит, можем на вас рассчитывать? Разобьете подлеца Гудериана? – спросил Сталин. – Если обещаете Гудериана разбить, мы вам авиации подбросим». – «В самые ближайшие дни разобью», – пообещал Еременко, молодцеватый пятидесятилетний генерал с аккуратно подбритыми височками и взбитым коком – и отправился гробить танковые части. В Первую мировую генерал успел повоевать с войсками кайзера, правда воевал он тогда в качестве ефрейтора, больших решений не принимал. В Первую мировую его сегодняшний противник Гейнц Гудериан был уже в чине капитана и войну окончил в Италии, так что встретиться им с Еременко тогда не пришлось. Встретились они под Тулой.

30 сентября 2-я армия Гейнца Гудериана при поддержке 1-й армии Клейста окружила основные силы Брянского фронта. Гудериан разбил Еременко и вышел к Туле. Генерала Еременко ранило осколком авиабомбы. Сталин не расстрелял его, хотя, по меркам того времени, Еременко заслужил расстрел; как обычно, Сталин поступил вопреки всеобщим ожиданиям: не покарал – а навестил в госпитале, посоветовал генералу себя беречь. Сегодня Сталин фактически слово в слово повторил обещание хвастуна Еременко, точно так же соврал, пообещал сломить врага завтра же, – и оценивая тот, давешний свой разговор с генералом, Сталин подумал, что у Еременко не оставалось другой возможности, надо было врать – и он врал.

Фридрих Холин читал газету с речью Сталина, сидя с Анной на диване в ее комнате. Диван на ночь превращали в постель, от этого у Холина было чувство, что он в больничной

палате: только в больнице днем сидишь на том же месте, на каком спишь ночью. Последние недели он жил у Анны и даже на улицу за папиросами не выходил. Переменилось все в его жизни после разговора его любимых женщин.

Анна неожиданно явилась к Любе, закрыла плотно двери, чтобы ребенок не слышал разговор, и сказала:

– Идет война, ты же понимаешь, что Фридриха убьют. Он такой человек, обязательно будет впереди. И мы его потеряем. Нам нельзя думать о себе, подумаем о Фридрихе.

Люба молчала. Потом сказала:

– Война.

– И что, если война, надо таких людей, как Фридрих, вперед посылать?

– Он такой же, как все. Война, – повторила Люба.

– Нет! – крикнула Анна. – Он не такой! Он книгу пишет! Он гений! Надо уметь ценить!

Надо встать выше! Надо пожертвовать самолюбием!

– Это называется самолюбием – если не нравится, что муж к другой тетке ходит?

– Не думай о себе!

Анна высказала сегодня все – все, что проговорила про себя сотни раз, те соображения, которые давно снабдила убедительными аргументами. Любе просто повезло, ей достался в мужа выдающийся человек, и что ж теперь – у нее на этого человека исключительные права? На каком основании? На том основании, что они вместе прожили двадцать лет, что у них ребенок? Какая ерунда – это лишь стечение обстоятельств. Любе повезло в лотерее – Анне не повезло. Но любовь Анны не менее сильна, а даже более – Анна не думает о себе, не думает о своей выгоде, вот, слушай, Люба, слушай, какой у меня план!

Анна путано пересказала известную ей историю: вот как случилось со знакомыми ее знакомых, – то была история про то, как человек избежал ареста. За мужем одной женщины должны были прийти чекисты, уже взяли его сослуживцев, и жена поняла, что дни мужа сочтены. Тогда жена собрала чемодан и перенесла вещи мужа к его любовнице – как и все жены, она была прекрасно осведомлена о том, где проживает мужнина любовница и как ее зовут. Муж переехал на два квартала от прежнего дома, перестал являться на работу, и о нем все забыли. Сначала искали – а потом забыли: город большой, дел у чекистов хватает. С тридцать пятого года (дело было в тридцать пятом году) он благополучно дожил до сорок первого – и никто о нем не вспомнил.

– А потом что?

– Сам пошел в военкомат, когда немцы к Москве подошли.

– А сейчас он где?

– Так убили его в прошлом месяце.

– Хорошо же он спрятался! – в сердцах сказала Люба.

– Вот и я говорю! Не вытерпел! Не удержали его! Нельзя было в военкомат идти! Так бы и прожил еще два года. Война бы кончилась! – и Анна стала доказывать, что Люба думает только о себе, о своей бабьей гордыне, а вовсе не о сыне, которому нужен отец, и не о муже, жизнь которого необходимо спасти.

– Он гений, понимаешь? Он не такой, как другие. Ему нельзя на фронт!

Как и в случае с детской лошадкой в сотне ненужных оберток, Люба понимала, что все, что происходит сейчас, – глупо и вредно, но она не могла устоять перед напором плачущей женщины. И то, что они обсуждали жизнь и смерть Фридриха, мешало ей найти нужные слова. Она не хотела смерти мужа – и рассудила, что лучше отдать его другой женщине. Люба собрала чемодан Фридриховых вещей, сложила стопкой глаженные рубахи, аккуратно сложила пиджак, завернула в газету новые ботинки – и отпустила мужа к любовнице, переждать войну. Пока собирала вещи, успела сама испугаться – ей привиделось, что она собирает вещи в морг, обряжать покойника. Пусть спрячется, пусть переждет, лучше пиджак

отдать в дом к этой ненавистной Анне, чем в гроб положить. И верно, верно, как может быть иначе – обязательно убьют! Он же такой, всегда вперед пойдет, убьют непременно! Страх вошел в Любу, она трясущимися руками собирала вещи. Паше сказали, что папа уехал на Север, и Фридрих Холин, подчиняясь логике ополоумевших от страха женщин, перешел жить в квартиру Анны – писать роман и спасать свою жизнь.

Он даже успел удивиться тому, что все решилось помимо его воли. Он перенес чемодан в чужую ему комнату, стал спать на чужом диване, пахнущем чужими людьми, и уже не видел сына. Женщину, с которой прежде виделся не так уж часто, теперь видел каждый день, вечерами ложился с ней под одеяло, ночью вдыхал ее запах – а сына, плоть от плоти своей, уже не видел. Если бы Фридриха Холина спросили, ради чего он все это проделал, Фридрих Холин ответил бы, что требовалось внести в жизнь ясность – вот он и сделал этот шаг. Сидя на диване в неприятной ему чужой комнате, Фридрих Холин думал, что прощался со своей квартирой не зря – прощался перед тем, как идти на войну, но какая, в сущности, разница: вот он уехал прочь от своего любимого стула и любимого шкафа, а куда уехал – разница не велика. Он также почувствовал, что простился не только с женой и сыном – но со всей родней, которая никогда не была особенно приятна, – но без родни вдруг стало пусто. Прежде на семейные праздники заходили родственники, сидели за столом, пели. Ему это никогда не нравилось, но сейчас он стал по родственникам скучать. Он стал думать о тете Зоре и тете Инне, которые прежде не были ему приятны.

Он переехал к Анне 2 декабря. Анна приносила газеты, рассказывала о своих встречах с бывшими сослуживцами Фридриха. Передавали, будто подозрительная Фрумкина хотела звонить куда следует, а потом сама испугалась – ведь скажут, что в редакции недоглядели за кадрами. И Анна, и Люба рассказывали всем, что Фридрих Холин вышел из дома и пропал. Такое случалось в Москве – и никто не удивлялся. Так и не стали искать Фридриха Холина, спрятался он за дамскую юбку.

Восьмого декабря Анна принесла газету с заметкой о нападении японцев на американскую базу Перл-Харбор. Фридрих Холин прочитал эту заметку десять раз. «Видишь? На Тихом океане война! Японцы вчера напали!» – «При чем тут японцы! Немцы уже в Нарофоминске!» Действительно, что это он о японцах? Ведь завтра фашисты будут в Москве.

Холина охватил страх за семью – как он мог оставить их, когда немцы рядом? Эта простая мысль даже не пришла ему прежде в голову. Отчего-то все разговоры были о боях под Москвой – а мысль о том, что Москва однажды падет, так и не была высказана. Как он мог? Лицо его исказилось.

Анна поняла; даже и спрашивать не стала, о чем Фридрих думает.

– Пойми, родной, так им даже лучше. Что же изменилось? Ты не смог бы им помочь! Ты должен был идти в ополчение – все равно не мог остаться дома. Тебя бы убили! В первый же день! Пойми. Прошу тебя, будь разумнее.

– Как я мог?! – сказал Фридрих Холин.

– Ты поступил так – ради них самих! Пойми наконец! Ты спас для Любы мужа. Спас для Пашеньки отца! Ты спас себя для них, пойми это! Думаешь, я на что-то претендую? Думаешь, личное счастье устроила? – Анна улыбнулась жалкой улыбкой одинокой женщины. Улыбка эта тронула Холина. – Я не претендую, чтобы ты меня защищал. И жениться на мне не надо. Вот кончится все, вернешься в свою семью.

– Как с Пашей будет... Господи, что я наделал!

– Пашу и Любу надо срочно отправить в Ташкент. Единственное разумное решение. И я этим займусь! У меня знакомые в Ташкенте. Завтра же поговорю о билетах.

– Как же билеты достать... – Он слышал, что эвакуацию осуществляют по спискам, составлявшимся на рабочих местах.

– Предоставь это мне, я знаю, с кем говорить.

Холин не спросил, с кем Анна поговорит, – было ясно, что говорить ей не с кем. Отправкой семьи в Ташкент могла бы заняться редакция, но о его семье в редакции и заикнуться нельзя. А потом Холин вспомнил: эвакуация закончилась. Уже месяц назад закончилась, теперь поезду не пройти, на путях немцы. Кто-то говорил в редакции, что последний поезд отправили 25 октября; дескать, давка была на Казанском вокзале. Нет больше эвакуации – ехать некуда. Зачем она обещает, зачем?

Прошла неделя как он не видел сына, и Холину стало мерещится, что сын болен, у мальчика жар.

– Ты не знаешь, как они там? Здоровы?

– Если хочешь, я зайду. Но думаю, это будет неразумно.

– Зайди, прошу тебя. Прошу.

– Неделю ты со мной выдержал, только неделю, – и опять улыбнулась жалкой улыбкой одинокой женщины. – А я ведь просто хотела тебя спрятать. Для них же спасти.

Прошло еще три дня.

Двенадцатого декабря Анна принесла газету: Германия объявила войну Америке.

– Вот видишь! И они тоже не ожидали... – Как-то само сказалось, вслух не произносили, что Сталин прозевал нападение.

– Меня вот что удивляет, – сказала Анна, – как же это американские адмиралы не подготовились? Как они смогли допустить нападение?

Правда, подумал Холин, как же это американцы прозевали вероломное нападение Японии? На этот случай послы есть, сотрудники разведки имеются, информаторы... Неужели Рузвельт не ждал? Там ведь какие-то промышленные объекты, нет, природные ресурсы... в Тихом океане, на островах... Да! Про это писали в газете! Человек со стратегическим мышлением должен предвидеть... Ведь Япония воюет много лет – Рузвельт должен был догадаться, мог первым ударить. И вдруг догадка – для журналиста естественная: так, может быть, американцы ждали, что японцы на нас нападут, на Россию? И представилась картина мира: собрались в комнате враги, каждый держит дубинку за спиной, и кто кого первым стукнет, непонятно. Каждый опасен. Трудно Советскому Союзу в такой компании.

Фридрих Холин спал с той стороны дивана, что рядом с трюмо (бездетная стареющая Анна следила за внешностью), и всю ночь вдыхал запахи парфюмерных изделий, от которых во рту делалось сладко.

Он проснулся, смотрел в темноту, дышал сладкими духами и думал, что произошло нечто очень важное – ему вдруг все стало ясно. Прежде была неопределенность, а теперь наступила ясность. Раньше происходило что-то в Тобруке, что-то на Тихом океане, шли бои под Москвой – и это были как будто разные войны. А теперь все соединилось вместе – и теперь ясно: вот мы – а вот они.

Днем Фридрих Холин писал за обеденным столом у окна, но роман не получался. Холин ходил по комнате, курил, смотрел через тюлевую занавеску на улицу. Надо написать такой роман, чтобы ответить за все, думал он. Надо описать нашу ежедневную трусость, страх перед Гитлером, страх друг перед другом. Надо описать мое ежедневное вранье. Садился к столу, писал два слова и останавливался. По улице шли грузовики, в них сидели замерзшие москвичи, лица людей были сосредоточенные и застывшие, словно никаких мыслей и чувств у людей не осталось – а только одно дело. И что бы ни делали люди на улице – чинили машину, носили мешки с песком, заклеивали стекла на случай бомбежки, рыли траншею, – они делали все с остервенением, вцепившись, как псы, в работу.

Фридрих Холин отложил карандаш и встал. Вот уже десять дней как он жил у Анны. Стыд охватил его. Он собрал свой чемодан, скомкав, засунул рубашки, запихнул пиджак – Люба расстроилась бы, нельзя так с вещами – стянул ремни, защелкнул пряжки, вышел за дверь. Дверь захлопнул, а ключи внутри оставил, чтобы не возвращаться.

На лестнице Холин оступился, чуть было не покатился по щербатым ступеням; удержался, выругался.

Во дворе ополченцы толкали грузовик: на морозе мотор не мог разогреться, водитель матерился, машина не заводилась. Двое пожилых мужчин с красными от натуги лицами упирались в кузов грузовика, стараясь разогнать его на ледяной дороге. Один из них носил круглые очки, очки держались на одной дужке, вторая дужка отсутствовала – при всяком резком движении очки соскальзывали с потного лица, мужчина их поправлял. Холин скинул пальто в снег, поставил в снег чемодан.

– Помочь?

– Ну, пособи.

### 3

Николай Ракитов повесток из военкомата не получал, поскольку адреса прописки не имел. Он объявился в военкомате сам и лишь после того как устроился на завод электриком, – впрочем, навыками электрика Ракитов не владел, к осветительным приборам относился пренебрежительно, а уж как получил он это хлебное место, остается только гадать. Во всяком случае, Николай Ракитов явился в военкомат в своем шикарном «французском» пиджаке и клетчатой кепке и, войдя без приглашения к комиссару, сказал скандальным голосом:

– Война идет, люди гибнут, население сокращается, а я, стало быть, не нужен Родине?

– Да кто ты такой! – сказал ему комиссар и кивнул солдату, чтобы вывели хулигана. – Сиди вон в коридоре, герой, тебя вызовут.

– Желаю пострадать за Отечество! Имею мечту погибнуть вместе с прогрессивной молодежью!

В профессии электрика Ракитов мало что смыслил, но зато обладал иными навыками: за годы беспризорной юности в совершенстве овладел искусством «крутить шарманку», «убалтывать клиента» – он умел говорить о чем угодно, сводя собеседника с ума своей напористой искренностью.

– На передовую хочу! В ряды передовой молодежи! Не крути мне руки, солдат! Руки мне пригодятся на фронте! Пусти на передовую!

Однако его вывели, Ракитов смиренно высидел в коридоре военкомата три часа, был допущен внутрь комиссаровых хором и, предъявив заводские бумаги, получил бронь от армейской службы.

– Ты, Ракитов, на своем заводе трудись, помогай армии честным трудом, – сказал ему комиссар Клоков, недоумевая, как получилось, что этот рослый парень до тридцати двух лет умудрился не числиться ни в каких войсках, не пройти срочной службы, и вообще не иметь приписки к военкомату.

– На юге я жил, – охотно сообщил ему Ракитов, – а там, на юге, товарищ комиссар, пятнадцать лет назад такая была неразбериха! Словно мы никому не нужны, словно не русские мы люди! – опять завел он свою скандальную шарманку. – Вот сам решил: не могу в тылу отсиживаться! Что же я – никому не нужен? Не русский я, что ли? На передовую мечтаю попасть! В ряды передовой молодежи!

– Иди на завод, – сказал комиссар раздраженно, – каждый пусть работает там, куда его поставила Родина.

– Как будто на передовой нет электричества! – нудил Ракитов, переигрывая. – Как будто передовой молодежи не нужен квалифицированный электрик со стажем!

Отличительной чертой Ракитова был развязный юмор. Шутил он грубо и часто переигрывал. Ракитов находил удовольствие в комедии положений. Ситуации в жизни складывались без его участия – это называлось «течение событий», или, как выражался Моня Рихтер, «движение истории», но в событиях этой истории всегда оставалось место для импровизации.

Ракитов любил рассказывать, как во время облавы на беспризорников он подошел к солдатам оцепления и попросил огоньку – стоял рядом с ними и курил папиросу, давал советы, где искать, и даже способствовал аресту некоторых своих друзей. Сдавать ребят он не собирался – просто увлекся советами. К стукачеству Ракитов склонности не имел, к сотрудничеству с властями – тем более, и он многократно это доказывал. Так, во время розысков его дружка Вити Калинина он подшутил над милиционером, который пришел в многокомнатную квартиру, где проживал Калинин. Ракитов открыл дверь квартиры и сказал, что проводит, а сам завел милиционера за перегородку к глухому татарину Сейфуллину,

любителю мордобоя, обладавшему таким количеством справок об инвалидности, что закон перед Сейфуллиным пасовал. Татарин всегда был пьян и зол; Ракилов толкнул милиционера на татарина и вышел, не прислушиваясь к подробностям драки. А еще Николай Ракилов шутил, когда добывал свой шикарный «французский» пиджак. Дело было так: они с Ниной обедали в кооперативном ресторане на Садовой, официант принес счет. Обычно Ракилов платил щедро, денег не жалел, а тут растерялся – в пиджаке денег не обнаружилось. То ли его (самого Ракилова!) пощипали в трамвае, то ли накануне спьяну он с кем-то от души поделился. Денег не было, о чем Ракилов и сообщил. Официант пригласил нэпмана – самодовольного владельца трех московских ресторанов.

– Где ж я деньги возьму, когда денег у меня нет? – резонно сказал Ракилов.

– Я обычно беру деньги в своем кармане, – поделился секретом ресторатор.

– Это мысль, надо попробовать! – оживился Ракилов. – Снимай-ка пиджачок, гражданин.

Пиджак служил Ракилову уже двенадцать лет; самого ресторатора давно расстреляли в лагере под Воркутой, закопали в общей могиле, сгнил труп ресторатора в сырой почве, а вот пиджак его с квадратными серебрястыми пуговицами – остался целехонек. Ракилов предполагал, что в последние свои минуты ресторатор был благодарен Ракилову за спасение пиджака. «Небось помянул меня добрым словом нэпман, – говорил Ракилов друзьям. – Небось не раз мне спасибо сказал!»

Еще до нападения Германии многие из компании Ракилова подались на юг – воров ехали в Ташкент, Новороссийск, Ростов. Считалось, что на юге можно прокормиться подножным кормом, щипать фряеров на солнцепеке легче, – а в столице приходится серьезно крутиться. Сам Ракилов ехать отказался, хотя в принципе отъезд на юг считал делом разумным, даже Сергею Дешкову, сыну врага народа, дал совет – уезжать. Например, Ростов – город вольный, столько раз переходил из рук в руки во время Гражданской войны, что там порядка в принципе нет. Или Ташкент взять – там блатным лафа.

– А сам почему не едешь? – спросил его Дешков.

– Привык в Москве. Большой город. Люблю.

– А если фашисты в Москву войдут, уедешь?

– Не войдут, не бойся.

На Новорижском шоссе будто бы уже видели немцев. Рассказывали, что немецкие мотоциклисты каким-то образом проехали до самой Москвы и даже выехали, миновав все кордоны, на улицу Горького. Говорили, что немцы заняли Волоколамск. Так прежде уже говорили: немцы на подходе к Воронежу, Смоленску, Можайску. И всегда сначала не верилось, а потом оказывалось правдой.

Немцы под Волоколамском – значит, надо торопиться и немцев опередить. Николай Ракилов с приятелями (молодым вором Голубцовым, блатным Ракеем и карманником по имени Мишка Жидок) успевал доехать на краденом фургоне до оставленного Красной Армией города и подчищал брошенные Красной Армией склады. Ракилов сильно рисковал, но дело было прибыльным – уже полгода он именно так и работал: успевал приехать в оставленные советскими войсками районы за считанные часы до прихода немцев, подбирал все то, что бросала отступающая армия, возвращался в Москву, продавал на черном рынке. Мародерством это назвать было трудно – скорее Ракилов прибирал за беглецами, подчищал то, что было оставлено немцам в добычу. Ракилов рассуждал так: «Если я не возьму – фашисты возьмут, я Красной Армии помогаю, мне бы чин надо дать».

Советские войска отступали стремительно, фронт откатывался назад каждый день. Это означало, что рейды Ракилова делались все короче и все опаснее. Прежде они ехали почти полный день до пункта назначения – и возвращались не торопясь, по пути обзревая оставленные деревни.

Ракитов рисковал более, нежели сам он считал: в те дни особым приказом было предписано отлавливать и расстреливать беглецов. Советское начальство среднего, как сказали бы сейчас, звена, ополоумев от страха, хватало казенные машины и бежало из Москвы. Слух прошел, что гитлеровцы партийцев не щадят – а танки Гудериана подкатились совсем близко, – и председатели профкомов и исполкомов, заведующие и управляющие бросали свои рабочие места, оставляли подчиненным и женам записки уклончивого содержания и уезжали прочь из города. Беглецов ловили и расстреливали. Ракитов ничего этого не знал – а увидев, как прямо возле служебной машины крутят руки партийному чиновнику, порадовался: «Не все им, гадам, икру кушать!» Встречи с патрулями веселили его беззаконную душу.

– Что, служивый, с Гитлером воевать неохота – решил с электриками сражаться? – весело спрашивал Ракитов у сотрудника НКВД, тормозившего машину. – Понимаю, солдатик! Гитлер с пушками – а у электрика из оружия одна отвертка... Током я тебя не убью... Ах, ты не фронтовой, ты тыловой солдат! Так тебя маршал Берия по головке-то не погладит, что ты друга самого Андрюхи Щербатова тормознул! Какой Щербатов? Не знаком? Ну, орел, невысоко ты летаешь...

И Берия в тот год еще не стал маршалом, и майора Щербатова разумеется, никто из патрульных не знал, но нахальство Ракитова впечатляло – их не трогали.

В последний месяц они слетали под Можайск, подчистили склады, проскочили под носом у фашистов, мокрые от пота доехали до Москвы – и уложились в семь часов. Такая поездка будоражила сильнее, чем квартирная кража, веселила больше, чем ограбление подгулявшего фраера, – надо было успеть, прежде чем в брошенное местечко въедут «Pz~ III», пробежать по опустевшему складу, подобрать ящики с консервами, снять с убитых оружие, отвинтить рулевое колесо с подбитого «Опеля», распотрошить брошенную полевую кухню. Ракитов рулил краденым фургоном наперерез отступающей армии, ему навстречу шли колонны грязных солдат, обозы с ранеными, беженцы с мешками, а он ехал против течения, в ту опасную сторону, где вот-вот появятся немцы.

Сам Ракитов оружие в ход никогда не пускал и даже нож не доставал из кармана. «ППШ» в машине имелся, нож, уж это само собой понятно, всегда был при нем, лежал в кармане «французского» пиджака, но воевать – такого занятия Ракитов не признавал. Воевать – увольте, на то у Родины солдаты имеются.

Он не особенно отчетливо представлял себе войну. Газетам по понятным причинам не доверял: газеты не замечали мира, в котором он прожил тридцать лет, его жизнь газетами не бралась в расчет, и он платил газетам таким же неуважением. Регулярные части симпатии у него не вызывали, к мундирам он испытывал неприязнь. Все, что скрепляется печатью, рано или поздно тебя погубит – вот единственный вывод, который можно сделать из российского опыта. Заключили союз с Гитлером, а Гитлер предал? Так это же естественно! Подписали бумажку, а потом бумажкой подтерлись? Так только и бывает! Вот, скажем, семью Дешковых взять – за примером ходить недалеко. Старик отрубил в регулярных частях всю жизнь, здоровье на маршировках угробил, служил Родине как цепной пес – и что, пожалели его? Держи карман шире. Ракитов видел, как Дешкова выводили из подъезда, в Ракитове даже шевельнулась шальная мысль – помочь соседу, чисто по-соседски поучаствовать. Но мораль выживания проста: тебя не дрючат – не подмахивай. Да и вообще он политику презирал.

Ракитов гнал свой ворованный фургон с надписью «Мебель» прямо на колонну красноармейцев и, куражась, свешивался в окно, кричал:

– Орлы! Откуда драпаем? Фрицы где?

– Куда прешь со своей мебелью? Рехнулся?

– Мебель стратегического назначения! – орал Ракитов, как обычно переигрывая и получая от того несказанное удовольствие. – Бронебойные столешницы! Разрывные калошницы!

Голубцов и Калинин глядели на Ракитова с обожанием и страхом, Мишка Жидок по трусливому обыкновению вжимал голову в плечи, они понимали, что, куражась, заступили какую-то важную черту, но остановиться уже не получалось.

– Дальнобойные кушетки! Безоткатные табуретки! Дорогу дай, солдатик!

Почему их до сих пор не пристрелили – самим было непонятно. Отступавшим красноармейцам было не до них, а немцев они видели издалека. Всякий раз Голубцов, Ранкей и Мишка Жидок божились, что больше ни за что не полезут к черту в зубы, но доход от каждой экспедиции был такой, что страх забывался быстро. В своих отчаянных рейдах они несколько раз едва не сталкивались с германскими войсками – расстояние от отступавшей Красной Армии до наступавших частей вермахта было ничтожным, – но все-таки не сталкивались. Дважды они догоняли хвост колонны пленных – за первые месяцы войны немцы захватили в плен два миллиона советских солдат, и основной заботой стало, как перегнать пленных на работы. Они видели, как тащатся по снегу раздетые и замерзшие русские люди, и их вели, дирижируя винтовками, солдаты рейха. Калинин – блатной со стажем, знавший, что такое этап, – криво улыбнулся и сказал: «Претензии к конвою есть?». В советских лагерях такой вопрос по уставу задавали зекам в лагере, когда принимали колонну у конвоя. Жаловаться не рекомендовалось – но теоретически было возможно, Калинин и сам однажды качал права на этапе. Но сейчас, похоже, претензии к конвою в расчет не принимались совсем.

Термин «домашнее рабство» еще не воскресили – эта древнегреческая фантазия посетила державные умы рейха в 1942 году, а до рудников концерна «Фарбен» путь был неблизкий. Всех пленных довести на работы в рудники не рассчитывали и не старались – дороги устилала трупами. Этапы растягивались на много километров, пленных гнали пешком, заставляя проходить по сорок километров в день. Транспорт не использовали совсем: предусмотреть такого количества пленных заранее не могли, пленных было больше, чем заключенных в пресловутом ГУЛАГе, а там все-таки готовились, бараки строили – и вот полуголым, голодным надо было пройти двести-триста километров до лагеря, где их предполагалось использовать на работах или уморить голодом. Морить голодом – это было вполне внятное предписание командования, не подлежащее обсуждению.

«Важнейшей целью кампании против еврейско-большевистской системы является полное уничтожение органов власти и истребление азиатского влияния на европейскую культуру». Эта чеканная формулировка фон Рейхенау (в приказе от 10 октября 1941 года) не оставляла поводов для колебаний и разночтений – зато для творческого толкования простор оставляла. Именно как метод пресечения азиатского влияния на европейскую культуру айнзацкомандой «Ц» и зондеркомандой 4а был избран расстрел 33 771 еврея в Бабьем Яру. Расстрел был произведен в течение двух дней – но, впрочем, это ни в коей мере не являлось рекордом европейского культурного строительства. В те дни было уничтожено по окрестностям вовсе не 33 771 – но 60 тысяч евреев; и это тоже пределом возможностей не являлось.

11-я и 17-я армия (командующий генерал-полковник Герман Гот) тесно сотрудничали с айнзацкомандой «Д» (штандартенфюрер СС Отто Олендорф) и приказ по армии вермахта, приказ Генерала Гота звучал так: «Здесь, на Востоке, борются друг с другом непреодолимые взгляды: с одной стороны, немецкое чувство чести и расы, с другой – азиатское мышление и примитивные, натравленные кучкой еврейской интеллигенции инстинкты: страх перед кнутом, неуважение к морали, нивелирование собственной, ничего не стоящей жизни. Эта борьба может закончиться только гибелью одного из нас. Третьего не дано».

1-я танковая группа (генерал-полковник Эвольд фон Клейст), та самая группа, что разбилась вместе с Гудерианом хвастливого маршала Еременко, действовала вместе с айнзацкомандой «Ц», той самой командой, что способствовала очистке Киева от еврейско-азиатского элемента. Теперь войска эти были под Москвой.

Непосредственно за частями вермахта входили айнцацкоманды, которые, по выражению бригаденфюрера СС доктора Отто Раша, начальника айнцацгруппы «Ц», «добились полного взаимопонимания со всеми подразделениями вермахта, так что войскам, ведущим бой, требовалась поддержка от айнцацкоманд». Айнцацкоманды – то есть те, кто расстреливал и сжигал гражданских, кто пресекал партизанские вылазки, кто карал местное население за попытки саботажа, – действовали в так называемой прифронтовой полосе, но постепенно эта полоса так размылась, что локализовать действие айнцацкоманд было невозможно. Доктор Франц Шталекер, бригаденфюрер СС и начальник айнцацкоманды «А» высказался так: «Сотрудничество с вермахтом протекает очень хорошо, а в отдельных случаях, как, например, с 4-й танковой бригадой, протекает сердечно». Именно эта сердечность во взаимоотношениях айнцацкоманд и сугубо войсковых подразделений и требовала того, чтобы расстрелы гражданских лиц начинались непосредственно вслед за тем, как в город входили войска. Расстрелы проходили – вопреки мифу о неучастии в карательных акциях солдат вермахта – в непосредственном присутствии или при непосредственном участии боевых подразделений.

Миф о том, что солдаты вермахта (тем более офицеры вермахта) не принимали участия и не были осведомлены о массовых казнях (акциях, как их называли), – этот миф создали в 1946 году стараниями пленного германского фельдмаршала Франца Гальдера, привлеченного американцами к работе в качестве директора штаба Военно-исторических исследований. Гальдера оправдали во всех судах, он привлек к исследованиям до ста пятидесяти генштабистов, из тех, что работали с ним в России, на липкой от крови земле. За несколько лет исследований вермахт полностью реабилитировали, от ненужных документов избавились, и Гальдер удостоился высшей американской награды для гражданских лиц, а затем мирно доживал в своем домике в Баварии. Хотя Франц Гальдер и прошел денацификацию и был объявлен вроде как не воевавшим и не причастным к плану «Барбаросса» – его тем не менее похоронили с воинскими почестями в Мюнхене; к числу его побед следует отнести и то, что он обелил вермахт.

В 1941 году исследования о непричастности вермахта еще не проводились, а потому солдаты работали в акциях бок о бок с членами айнцацкоманд.

К Волоколамску была приписана выдвижная айнцацкоманда «Москва» (начальник Франц Альфред Зикс, в прошлом профессор Кеннигсбергского университета, затем декан факультета международных исследований Берлинского университета, затем глава VII отдела РСХА по изучению мировоззрений, командирован Гейдрихом под Смоленск, для вычищения еврейских интеллектуалов) – и задания у профессора были масштабные.

Молодой жиган Коля Ракитов про эти подробности не ведал, в юдофильстве замечен не был. Даже если бы он случайно и узнал про еврейские погромы, то, вероятно, эмоций бы не испытал. Среди его друзей евреев не было – вот разве Соломон Рихтер, аргентинский товарищ, ну так это экзотика! Мишка Жидок свою национальность не афишировал, а слово «жидок» ничего особенного для его друзей не означало: ну, Жидок – и Жидок, мелкий потому что.

В Волоколамск они приехали уже после того, как туда вошли немцы. Легендарная Панфиловская дивизия была уничтожена неделю назад, Волоколамский укрепрайон лежал в руинах, друзья проехали на своем мебельном фургоне по свалке горелой техники, такого побоища им видеть не приходилось. Ракитов оставил свой фургон возле первой линии домов, прикрыл машину еловыми лапами и тополиными ветками, дворами прошел вперед – посмотреть, что можно здесь прихватить. Похоже, приехали они напрасно – приехали на пепелище. В то время как они подъехали, расстрел еврейских детей уже закончился, пленных солдат и комиссаров истребили еще накануне, а сейчас оставались сущие пустяки – надо было прибрать место казни.

В период от начала войны с Россией (то есть с июня сорок первого года) и до апреля сорок второго – был издан ряд приказов, беспримерных для германской армии, да и для любой другой армии тоже, – то был отказ от международных основ военного права. Существует три популярных мифа на этот счет. Первый, романтический миф заключается в том, что кадровые германские военные противодействовали решениям нацистской партии, – они воевали с противником, но не уничтожали гражданских лиц и пленных. Второй, исторический миф гласит, что Советская Россия сама виновата в судьбе своих пленных, поскольку не подписала Женевскую конвенцию. Третий, сентиментальный миф утверждает, что генерал фон Браухич, главнокомандующий сухопутными силами рейха, пытался смягчить судьбу советских военнопленных.

Это все мифология. Высший командный состав рейха, равно как и германское унтер-офицерство – находился в прямом контакте с айнзацкомандами, что подчеркивалось в специальном приказе «о взаимодействии сухопутных сил с айнзацкомандами», о «военном судопроизводстве в соответствии с планом «Барбаросса», «о действиях войск в России» и, наконец, в знаменитом приказе о комиссарах. Сейчас в основном помнят и цитируют именно этот приказ – однако он наименее важен. Убивали комиссаров особенно жестоко – но вообще убивали всех. Речь Гитлера, в которой фюрер в числе прочего произнес: «Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Речь идет о борьбе на уничтожение», – была услышана и произвела желаемое действие. За первый год войны было замучено и уничтожено более трех миллионов советских военнопленных – эта цифра не учитывает расстрелянных и замученных гражданских лиц на оккупированных территориях, прежде всего евреев. То, что советские дипломаты не подписали соответствующий пункт Женевской конвенции, было связано единственно с тем, что советская официальная мораль не могла принять дифференцированного обращения с пленными солдатами и пленными офицерами, – советские дипломаты не подписали Женевскую конвенцию с тем большим основанием, что уже имелась Гагская конвенция, подписанная Россией в 1907 году и предусматривающая обращение с пленными, – и эта конвенция никем не была отменена. Генерал фон Браухич, командующий сухопутными силами Германии, действительно выражал недоумение по поводу поголовного истребления советских военнопленных. В самом начале войны им были изданы дополнения к приказам, смягчающие участь советских пленных, – впрочем, просуществовали эти дополнения менее месяца, так как приказом от 25 июля 1941 года сам же фон Браухич их и отменил.

В совокупности с известным сталинским приказом № 270 относительно сдавшихся в плен и их семей, оставшихся в тылу, это практически не оставляло шансов выжить.

Айнзацкоманды, действовавшие на московском направлении (айнзацгруппа «Москва» например), не делали ничего такого, чего бы не делали их коллеги на других участках работы. Их методы не отличались особой изощренностью – но долг свой они исполняли неуклонно.

Сначала хотели сделать так, чтобы еврейских детей убивали сами евреи. Искали среди еврейских докторов таких, какие согласились бы убивать деток, – в обмен на обещанную жизнь. Восьмидесятилетний доктор Фиделев, которому предложили таким образом спасти себя и жену, отказался, и его вместе с женой запытали. Зато согласился сотрудничать румяный доктор Ибянский, он мазал губы еврейских детей ядом, и дети впадали в смертельное забытие. Румяный полнощекий врач Ибянский работал без усталости, травил деточек не покладая рук, однако довольно быстро выяснилось, что услугами одного доктора вопроса не решить. Разумеется, в скором времени ввели газовые камеры. Но согласитесь, всех еврейских детей не поместишь в газовую камеру, сколь бы этого ни хотелось. В лагерях смерти газовые камеры работали исправно, но что делать, если войска входят в населенный пункт – какой-нибудь Клин или Смоленск, где лагерь еще не построен? Конечно, в Смоленске евреев

– кот заплакал, но это ведь не повод уклониться от воинского долга, не так ли? Скажем, профессор Зикс и в Смоленске сумел исполнить свой долг – отыскал евреев и задушил как крыс. Что прикажете делать в Можайске или Волоколамске, где бараки для пленных еще не построены? Пленных гнали в Ржев, под Ржевом лагерь уже существовал, но всех в Ржевский лагерь взять невозможно, лагерь не резиновый. Передвижных газовых камер (они именовались «газенваген») существовало ровно двенадцать – так, извините, дела не сделаешь. Тогда стали убивать людей более интенсивно, ударными темпами. Брели город, например Волоколамск, вот как сейчас, взрослых отделяли от детей, расстреливали, затем брались за деток. Как правило, метод массового убийства детей был следующим. Еврейских детей раздевали донага – иногда вместе с ними оставляли и матерей, – а потом дубинками и прикладами загоняли в ров, набивали ров голенькими детьми до отказа и расстреливали копошащийся ров из пулемета. Те дети, кто не поместился в ров, стояли и ждали своей очереди. Данный способ уничтожения еврейских детей, конечно, имел погрешности – не исключена была возможность, что кто-то уцелеет при массовом расстреле. Но, во-первых, ров засыпали землей и хоронили вместе раненых и убитых, а во-вторых, как прозорливо заметил Отто Олендорф, делаясь опытом с коллегами из других айнцацкоманд, «некоторые командиры подразделений не придерживаются военных методов уничтожения и проводят индивидуальные расстрелы выстрелом в затылок. Я против этого, так как это вызывает нежелательную психологическую реакцию как у жертв, так и у тех, кто производит расстрел». Вещи расстрелянных сжигали, а ценности аккуратные немецкие солдаты отправляли в Министерство финансов Германии, чтобы исключить возможность личной наживы.

Айнцацкомандам было предписано уничтожать следы своей деятельности в прифронтовой полосе; после акции могилы раскапывали и заливали бензином, сжигали трупы – никто не должен знать, что произошло: зачем истории такие подробности. Иногда, впрочем, людей жгли заживо.

В Волоколамске, куда приехал жиган Ракитов, 600 человек пленных собрали в доме на улице Гольшиха, снесли туда охапки сена, заколотили двери, а дом подожгли. Горящие люди выпрыгивали из окон, их расстреливали автоматчики. Четырехэтажный дом выгорел довольно быстро. Параллельно с этим на окраине шли расстрелы еврейских детей – таковых обнаружилось немного, работа, в сущности, плевая.

Ракитов приехал в город как раз в то время, когда акция была закончена и двое солдат раскапывали ров, чтобы сжечь трупы. Николай Ракитов смотрел, как солдаты раскапывают общую могилу, заливают детские трупики бензином. Двое солдат вспотели, раскапывая могилу, Ракитов видел мертвых детей, рассмотрел трупы внимательно. Солдаты залили бензином ров, подожгли, и Ракитов почуял запах горелого мяса. Повалил густой черный дым, Ракитов приблизился к солдатам, закрытый от них дымом.

Первого солдата он убил легко: подошел к немцу сзади, всадил нож глубоко под лопатку, нащупал там внутри сердце, повертел лезвие, придержал рукой открытый рот умирающего, чтобы фриц не орал. Второго убивал долго. Поставил солдата на колени, разрезал ему рот от уха до уха, сказал: «Посмейся, фриц», – поглядел, как пузырится кровавыми пузырями разрезанный рот – и только потом перерезал немцу горло. Отпихнул жмурика ногой – уж очень фриц кровил. Весь «французский» пиджак был залит кровью, Ракитов бросил свой пиджак в огонь. Мишка-жидок подтащил в огонь немецкие трупы. Потом спросил у Ракитова:

- А теперь что будем делать? В Красную Армию пойдем?
- Своим умом проживем, – сказал Ракитов.

## 4

Андрей Щербатов вместе с женой Антониной, полной дамой, и отцом Владимиром Андреевичем, пожилым чекистом, получил ордер на квартиру Дешковых сразу после того как был арестован Дешков-старший. Квартира вальжная, трехкомнатная, окна на три стороны, в каждой комнате – балкон. Щербатов получил в домоуправлении ключи, зашел, постоял на пороге – в эту квартиру он хаживал мальчишкой, когда родители Сергея Дешкова устраивали новогоднюю елку. Дети в ту пору были уже взрослые – по четырнадцать лет, но для них все-таки наряжали елку, и даже Моисей Рихтер, профессор Сельскохозяйственной академии, живший в соседнем подъезде, надевал красный колпак, изображая Деда Мороза. Пустой коридор с открытыми дверцами стальных шкафов (был обыск), расколотая люстра с подвесками (зачем ее разбили?), опрокинутые на пол книжные шкафы – все это расстроило Щербатова. Будто нельзя вести себя пристойно – сотрудники органов все же не в кабаке вошли, не в бандитский притон. Явились с обыском к красному командиру, который двадцать лет сражался за Родину. Оступился командир, связался со шпионами – время такое, что проглядеть шпиона легко. Что мы, не знаем, как это бывает? Враг народа Тухачевский на процессе подробно рассказал, как он попался на крючок вражеской разведке. Шпионов в стране много: с одной стороны Япония, с другой – Германия, там – белополяки, там – белофинны. Какой хочешь документ подделают. Разговариваешь с милым человеком, откровенничаешь, а потом – сплошь и рядом так бывает! – оказывается, что выболтал секреты врагу. А враг готовит тебя к измене исподволь, враг знает, чем тебя прельстить! Враг говорит, что на Родине тебя не понимают, не дают развернуться. Человек твоего дарования (так говорит обычно враг) в Германии уже армией бы командовал, а то и министром обороны бы стал! И квартиру бы имел соответствующую, и паек богатый. Чтобы всегда в буфете коньяк, и балкон в квартире, и прислуга щи варит. И вот у тебя уже тоска, хочется квартиру побольше, прислугу в переднике, как у генерала. Плюс – тщеславие, фанаберия; этого у красных командиров навалом. Ведь всегда кажется, что тебе мало дали! Ведь они все – высокое армейское и партийное начальство! Гамарник – зампред Военного совета Среднеазиатского округа, первый секретарь ЦК Белоруссии! Якир – командующий Закавказским военным округом! Тухачевский – начальник Военной академии, член ЦИКа, заместитель наркома обороны СССР! Кто же их заподозрит? Вот, например, Троцкий – ведь сколько лет, хитрец, маскировался. Правда, Ленин «иудушку» сразу разглядел, но далеко не все умеют так внимательно смотреть, как Ленин. Надо обладать ленинской проницательностью, особенно в оперативной работе. Щербатов даже специально тренировался перед зеркалом, глядел поленински лукаво, с прищуром. Взгляд должен получиться такой, чтобы у подследственного сердце екнуло: всю подноготную такой взгляд раскрывает. Задаешь вопрос человеку, а потом вот так, с прищуром на подозреваемого смотришь.

Щербатов исправил разрушения, произведенные особистами в квартире Дешковых: подмел осколки зеркала и люстры, расставил мебель по местам, вернул книги на полки, даже порванные страницы заправил в переплет. Прошелся по квартире, прикидывал, в какой комнате им с Антониной спать, куда кровать поставить. Широкая кровать имелась в спальне Дешкова-отца, но Щербатов не хотел селиться в комнату врага народа. Решил: сюда вот большую кровать перенесем, в комнату Сергея Дешкова; а эту узкую кушетку на кухню поставим: пусть на кушетке прислуга спит. Будет ведь и в нашей семье прислуга. Мы не бары, но прислуга нам положена. И зарплата позволяет. А вот письменный стол Сергея оставим в комнате, пусть будет. Щербатов поднял с пола фарфоровую фигурку льва, забавный сувенир. Богатые люди ставят такие фигурки на столы и полки, пользы от сувениров никакой, детям в

них играть не дают, это дорогие игрушки для взрослых. Надо бы отдать Сергею при случае: сунул фарфорового льва в карман.

Что в большой комнате делать – не придумал. Дешковы гостей в этой комнате принимали, даже инструмент у стенки стоит, на нем, наверное, мать Сергея Дешкова играла. Приходит к ним в гости Гамарник или Якир, они садятся обедать, прислуга вносит щи в супнице с драконами – вон она, супница с драконами, и весь сервиз китайский, – а мать Сереежина играет на рояле. А вот Щербатовы на рояле играть не учились, им некогда было, работали с утра до ночи. Придется отдать кому-нибудь рояль. Если только особысты его не испортили. Открыл крышку, сморщился от досады – струны вырваны, все внутри разворочено.

Устал, присел на стул в углу комнаты. Не дело так с вещами обращаться. Да, оступись красный командир Дешков. И что теперь, зеркала бить в его квартире? Инструмент чем виноват?

Щербатов раздумывал, надо ли говорить о своем переезде Сергею Дешкову. Как-то не получалось сказать – не выходило гладко. Дешков был друг детства, и тот факт, что его отец арестован, все-таки прошлой дружбы не отменял. Они встречались во дворе, Дешков представил ему свою жену, кажется беременную. Щербатов спросил как-то у Дешкова – отчего это жена его нигде не работает. И Дешков испугался, побледнел, не знал, что ответить. Щербатов еще испробовал на нем свой взгляд с прищуром. Посмотрел внимательно и спросил: «Твоя жена почему во дворе так часто гуляет? Заняться нечем? А ведь многие интересуются». Дешков сильно нервничал, не знал, что сказать.

Сами Дешковы в свою квартиру на третьем этаже подняться не решались, а может, им уже сказали, что из квартиры их выписали. Как поступить? Просто въехать – и поставить Дешковых перед фактом? Так и не приняв решения, Щербатов спустился к себе в подвал, поел щей, выпил рюмку водки. Опять задумался. Пока Щербатов раздумывал, жена его уже сбегала, наняла рабочих, чтобы переносили буфет, разложила по мешкам имущество – выяснилось, что, кроме буфета, и переносить наверх, в сущности, нечего. Жили-жили, а добра не нажили, спали на досках, набитых на козлы, – и сколько же так проспали? Сосчитали, и страшно стало – вышло семнадцать лет. Ну что же, свое мы этому подвалу отдали – теперь можно и в квартире пожить, как люди. Что касается кроватей, то они в дешковской квартире имелись – одной заботой меньше. Что делать с книжными шкапами и пыльными рваными книгами – решить не могли. Дышать книжной пылью – негигиенично, но выбросить книги Щербатов не желал.

Андрей Щербатов собрался было предложить книги самому же Дешкову – пусть, в конце концов, позаботится о своей библиотеке, но выглядело бы такое предложение странно: не оповестив о переезде, вдруг предложить вывезти книги.

Книги были военные: «Записки» Юлия Цезаря, сочинения Вильгельма Клаузевица, «История тридцатилетней войны» Фридриха Шиллера – солидные фолианты в кожаных переплетах. Григорий Дешков преподавал в академии – вероятно, на этих книгах он воспитывал будущих стратегов. Андрей Щербатов решил, что такая литература и ему пригодится. Знание военной премудрости не повредит: следствие, любой допрос – это своего рода бой – важно знать, откуда подступить, когда ударить. Щербатов открыл том Шиллера, сел в кресло, зажег настольную лампу под зеленым абажуром – начал прямо с первой страницы, но прочесть больше пяти строк не сумел: очень скучно написано. Короче надо излагать, по существу и без деталей. Открыл он и Цезаря, «Записки о Галльской войне». Вот, говорят: Цезарь – гений; а гений такую тягомотину сочинил! Как же Дешковы все эти книжищи осилили? Или для виду на полках держали? Сидели эдак вот в кресле, мусолили страницы – и все от фанаберии.

Жена предложила отдать книги соседям напротив: на одной площадке с Дешковыми жили Холины, отец семейства был журналист, а журналистам к литературе не привыкать.

Опять-таки книга для цитат пригодится, от книжек газетчику прямая польза. Когда-то молодой чекист Андрей Щербатов и юный журналист Фридрих Холин дружили – но это было давно, когда они еще не стали чекистом и журналистом. Антонина Щербатова взяла пару томов на пробу – просто чтобы люди убедились, что продукт качественный, – и позвонила в соседскую дверь. Открыла ей женщина с несчастным лицом, по имени Люба, сказала, что мужа дома нет и когда вернется – неизвестно, ушел давно, не появляется несколько дней, а ей самой книги без надобности. Антонина ахнула – да как же вы такое терпите, в милицию надо заявить. А соседка рукой махнула – мне, мол, уже все равно, устала я от жизни. Антонина доложила о разговоре Андрею, и Щербатов руками развел: «Неужели и этого взяли? Не дом у нас получается, а шпионское гнездо. Вот тебе и персонлихайт! Вот уж действительно: подвергай все сомнению!» Антонина спросила: «Ты о чем?» – «Это у нас поговорка была в детстве такая».

Тогда Щербатов решил отдать книги семье Рихтеров, он пришел к Соломону Рихтеру, показал книгу Шиллера и спросил:

– Моня, ты профессорский сынок, книжки с детства читаешь. Скажи мне, Моня, зачем люди читают про чужую войну? Триста лет назад это было, а нам своих бед хватает.

Щербатов обнаружил, что спускаться в гости с третьего этажа или подниматься в те же гости из подвала – это ощущения несхожие. Прежде, заходя к Рихтерам, он чувствовал себя неуютно: пришел в чистый дом грязный служака, книжек он не читает, на иностранных языках не говорит, живет в подвале. А сейчас иное дело – спустился по широкой лестнице из барской квартиры, пару книжек прихватил под мышкой – вот, не угодно ли взглянуть: Шиллер имеется.

– Зачем нам про тридцатилетнюю войну знать, объясни ты мне?

– У нас те же проблемы, – сказал Соломон.

– Брось! Тогда диктатура пролетариата была? Гитлер тогда был? Про коммунизм и то не знали.

– Коммунизм, – сказал Соломон Рихтер, – люди придумали давно. Задолго до Карла Маркса.

– Ты осторожней, Моня, – сказал ему Щербатов.

– Так Ленин написал в статье «Три источника, три составные части марксизма». Я цитирую.

– Ну, если цитируешь... А что было в Тридцатилетней войне, что сегодня надо знать?

– Общеввропейская война... все интересы встретились... как сегодня.

– А конкретнее?

– Испанская война, например.

– Испанская война?

– Ну да, испанская война.

– Как у нас в тридцать шестом?

– Практически да.

– Я вчера этого самого Шиллера прочитал, – сказал Щербатов надменно, – и что? Не очень интересно. Чем мне это поможет? Ну – чем конкретно?

Соломон Рихтер успел к двадцати пяти годам усвоить манеры своего отца-профессора – он говорил рассеянно, не глядел на собеседника, тянул слова.

– Вот, скажем, врач получает образование по книгам...

– При чем тут врач?!

– Эээ... да, – сказал Рихтер, – по книгам... Изучает атласы анатомические... он должен знать, где какая кость... Фармакологию, кстати, должен освоить... Да... Так и с историей. Книги по истории – это как учебник по медицине.

– Моня, ты меня не дурачь. Я твоим книгам, – Щербатов хотел сказать «твоим барским квартирам», эти вещи у него связались в одно, – я твоим книгам цену знаю! Моня, война идет сегодня! С Германией! Другие проблемы!

– Зачем, например, ээээ... врачу... – сказал Рихтер, – читать про болезнь, ведь пациент у него будет другой, не тот, что описан в учебнике? У другого пациента и болезнь будет проходить по-другому. Но типологические черты общие... да. Кстати, с Германией в Тридцатилетней войне многое связано... эээ... герцог Валленштейн... да.

– Значит, по-твоему, Шиллер чего-то стоит?

Соломон Рихтер поднял брови, соорудил фирменную рихтеровскую гримасу: так и его отец на кафедрах брови поднимал, слушая студентов.

– Кто, Шиллер? Да, эээ... гений.

– Почему он гений? Ну почему? – допытывался Щербатов. – Ну что он такого про войну сказал, чего мы с тобой не знаем?

– Ну... эээ... показал, как религиозная война превращалась в экономическую экспансию... скажем, союз Швеции с Францией – одни протестанты, другие католики... Дикость, верно?... Ты сам, думаю, поразился... да!

Щербатов слушал раздраженно, но некоторые выводы делал: решил книгу Шиллера никому не отдавать и вообще подробно просмотреть книги из дешковской библиотеки. Однако Рихтера пора было поставить на место.

– А ты, Моня, в Испании воевал?

– Братья воевали.

– И где твои братья воевали?

– В Мадриде, в интербригадах. Под Гвадалахарой.

– Что рассказывают? На Тридцатилетнюю войну похоже? – сказал Щербатов и поразился своему остроумию: вот как надо колоть подследственных. – Сам знаешь, что не похоже. Другие проблемы в Испании. Троцкизм, например. С Троцким в Испании твои братья встречались? – резко спросил Щербатов и посмотрел, прищурившись.

– Нет, не встречались.

– Это я просто так спросил, – сказал Щербатов значительно, – гипотезу проверяю. Не у тебя одного гипотезы есть. Значит, не встречались... Интересно... А сейчас ты где воевать будешь?

Соломон Рихтер удивленно поднял брови. Как раздражала эта барская манера – Рихтеры в разговоре растягивали слова и удивленно поднимали брови.

– В авиации, разумеется. Эээ... В летное училище еду. В Челябинск. Да, кстати, ты еще Лессинга посмотри.

– Что посмотреть?

– Если уж немецкими романтиками увлекся. Шиллера трудно понять без Готфрида Лессинга и без Гёте. И без Шлегеля, если уж на то пошло. Фридриха Шлегеля, а не Августа, разумеется.

– Не увлекался я немцами, – процедил Щербатов. – Не увлекался! – Как он ненавидел рихтеровское всезнайство и высокомерие! Более всего оскорбляло, что высокомерная интонация для Рихтеров была естественной; так говорил и Рихтер-дед, и вся еврейская профессорская родня. Смотрели на собеседника рассеянно и роняли слова невпопад – мол, потрудись понять, что я тут тебе наболтал! Фридриха, а не Августа! Ну для чего он вот так сказал? Взял и по носу щелкнул: не читал, не знаешь, не по Сеньке шапка! Унизительно! Щербатов понимал, что Соломон не собирался его унижить, так само получилось. У них всегда так получается. – Не увлекался я немецкими романтиками. И тебе, Соломон, не советую такие слова громко произносить. Не так тебя люди поймут.

– Вот именно, – ответил Соломон Рихтер рассеянно, – простых вещей люди не понимают! Скажем, драму Лессинга «Натан Мудрый» многие невнимательно прочли. Я не уверен, что гитлеровская команда эту драму вообще читала. Это пьеса про еврея Натана, и фашисты, скорее всего, эту пьесу читать не стали. А напрасно.

– Фашисты, Моня, театром не интересуются. Они самолетами увлекаются и танками. План «Барбаросса» их интересует, Моня, слышал про такой? Захват и порабощение России. «Барбаросса»!

– Вот именно. Знаешь, откуда слово пошло? – Соломон поднял брови, его учительская мимика раздражала. – Фридрих Барбаросса, германский император, возглавил крестовый поход. Третий крестовый поход... эээ... да, третий. Походов было несколько, я тебе расскажу. Эээ... да, обязательно... Расскажу потом. Вся Европа, так сказать, собиралась и шла на Восток... Так вот, Барбаросса свой крестовый поход проиграл... Драма Лессинга описывает время после поражения Барбароссы... Еврей Натан... если тебе интересно, конечно... Натан дебатировал... дебаты – это такие диспуты... ну, как в суде, разбирательства... эээ... дебатировал с одним крестоносцем... эээ, так назывались участники похода... тебе интересно?

– Знаешь, Моня, когда будем отдыхать в Крыму, ты мне расскажешь. – Щербатов почувствовал, что его голос окреп, вернул себе правоту.

– Есть предание, что Барбаросса спит в горной пещере и однажды проснется.

– Вот будем на пляже загорать, ты мне все расскажешь. И с кем евреи судились, и кто где спит... А сейчас, извини, времени на древнееврейские истории нет. Война идет.

Щербатов сказал это резко, но все же чувствовал, что сказал недостаточно грубо, а надо бы – грубее. Тут надо бы так сказать, чтобы собеседнику стало обидно за свою жизнь, чтобы его прожгло стыдом – чтобы даже его, городского жителя, не видевшего беды в полный рост, проняло. Что ты вообще знаешь про боль, хотел крикнуть Щербатов еврейю Соломону, что вы, евреи, знаете про несчастье? Погромы свои только и знаете. Погромы тоже, знаешь, на пустом месте не бывают... Сами виноваты, если хочешь правду знать. Наши мужики, они долго запрягают, а едут быстро. И потом, что такого случилось на погромах? Ну побили, ну затоптали одного-двух... Не надо, Моня, не нагоняй страху, так надо бы ему сказать. Ты жизни настоящей пока что не видел, не знаешь, как у деревни забирают последнее, ты этого не видел, еврей! Ты не слышал, как голосит баба, у которой мужу вспороли живот, ты не знаешь, как воют над расстрелянными детьми. Вот вы про погромы любите поговорить, чтобы пожалели вас. А в твоей семье детей убивали, еврей? Кудрявеньких ваших жидочков? А видел ты, чтобы вошел отряд конников в деревню и открыл огонь по бабам с деточками? Чтобы прямо с седла лупили из винтовок по женщинам да норовили попасть в живот? Такое видел? Слышал, наверное, про Петлюру, да только Петлюра далеко... Ты такое видел хоть раз? Эх, еврей! Аргентинские твои драмы... Щербатов решил добавить кое-что, чтобы Соломон запомнил крепко.

– Беды в трудное время хватает, – сказал он. – Например, контры в стране много. И это понятно, Соломон. Потому что война скоро будет, и противник посылает к нам шпионов. Как же без этого, Моня. На то и война. Беда у нас одна на всех, верно? Но конечно, всякому кажется, что самая большая драма у него! Верно, Моня? Иной раз с женщиной говоришь, талоны на питание она, допустим, украла, – а она тебе про своих деточек заливает. Как будто у тех, у кого она талоны украла, детей нет. Ухватываешь, куда я клоню? Вот вы думаете, что главная драма – это про то, как коммунисты из Аргентины уехали в Россию. Так вы считаете? А по дороге у вас, может, ридикюль пропал... Или что у вас там приключилось... Исплакались все, верно? А беду тамбовского мужика вы и знать не желаете. Там люди глину с голоду жрали. А потом резали друг дружку – не по злобе даже, а так, сдуру.

Щербатов мог бы рассказать больше, он мог рассказать, что в Тамбове у него сгинули родные – сестра жены и трое племянников. Родня не кровная, но все-таки. Сестра жены

вышла замуж в семью из-под Тамбова, из села Туголуково; кто-то из семьи связался с бандитами, ушел в лес. Красноармейцы разобрали и сожгли семейный дом Валуевых (у тамбовской семьи фамилия – Валуевы), и всех, включая малолетних племянников, отправили на Север. Жена плакала, умоляла узнать, куда их законопатили, Щербатов хотел составить официальный запрос, но начальник отсоветовал. «Они тебе кто?» – «Племянники. Сестры жениной дети». – «Это хорошо, что не родные, а то, знаешь, и вы с Антониной под приказ попадаете». – «Как это так?» – «А так, приказ № 171 уже отменили, а приказ № 130 никто и не отменял. Семья бандитов подлежит выселению – верно? Ты ко мне приходишь и в данную семью записываешься, я правильно интерпретирую?»

Так и не написал Щербатов запрос – и сгинула женина сестра с детьми, следов от племянников не осталось. И сейчас уже совсем не до них – такая жизнь пошла, что человеческая жизнь вообще ничего не стоит. А все-таки порой вспоминаешь ребят – и жалеешь. И жена – что же он, слепой? глаз не имеет? – и жена отвернется порой и губы подожмет. Стало быть, вспоминает. Кровь не водица.

– Ты запомни, Моня, в России главная беда – с мужиком, а с вами, барскими детьми, беды великой сроду не случалось. У тебя, я так думаю, с родней все в ажуре? Бульон куриный кушаете, Шиллера читаете?

Щербатов развернулся на каблуках, отметив про себя, что проделал поворот четко, по-военному, и стал спускаться по лестнице. Ну, семейка! Кстати, не случайно это, что евреи русской беды не понимают: они своей земли отродясь не имели, не боронили, не сеяли. Им защищать, по сути, нечего. Прогнали их с одного места, они собрались – да на другое перешли. Не сеют, не жнут, люди безответственные. Что им ни скажи – у них свое будет мнение. Барбаросса! Придумают тоже! Заняться людям нечем. Немцы в тридцати километрах от дома, а еврей про Крестовые походы вспоминает! Вон – в окно если посмотреть, так можно уже барбаросс увидеть.

Из лестничного окна открывался вид на крыши района, за крышами – Тимирязевский лес, еще дальше Волоколамское шоссе, а на горизонте – дым. Черный дым, столбом. Там шел бой.

## 5

Соломон Рихтер глядел в спину уходящему Щербатову и думал: он действительно знает про братьев – или нет? В том ведомстве, где работает Щербатов, все известно... или так только, пугают?

Старшие братья уехали воевать в Испанию, попали в интербригады, война закончилась – а они не вернулись.

Война в Испании кончилась победой фашистов, Мадрид пал, войска Франко вошли в город, республиканцев отправили в каменоломни, испанские дети-беженцы остались жить в России навсегда – а братья Рихтеры исчезли. Похоронок не приходило, писем не было, сослуживцев не было, никто не знал, где именно служили братья. Соломон боялся спросить у отца, что тот думает, – Моисей Рихтер приходил домой из университета, отчитав свои лекции, ложился на диван в большой комнате, лежал лицом к стене. А в тридцать девятом году Моисея Рихтера, профессора минералогии Тимирязевской академии, пригласили к адмиралу Кузнецову.

Адмирал Николай Кузнецов во время испанской войны был военно-морским советником испанского правительства, этот факт часто отмечали в газетах. Боевых действий на море велось немного, долго в Испании адмирала не продержали. К моменту встречи с Рихтером он уже стал адмиралом Тихоокеанского флота, в дальнейшем его назначили наркомом Военно-Морского Флота, Кузнецов был очень большим начальником. Письмо в Астрадамский проезд доставил фельдъегерь, козырнул, вручил лично. По тем временам необычное приглашение.

Сутулому и седому Моисею Рихтеру чины Кузнецова были безразличны, понять значение адмирала Кузнецова он был не в силах, но то, что речь идет о сыновьях, Рихтер понял. Надел серый пиджак и пошел, загребая ногами, к остановке 27-го трамвая.

Адмирал был в то время крайне молодым человеком, ему едва исполнилось тридцать – и старый еврей подумал, что говорит с ровесником сына. Кузнецов предложил Рихтеру чаю и папиросы. Моисей Рихтер не курил, от чая отказался. Сел на стул, какой ему указал ординарец, смотрел на военного за столом. Адмирал взболтал чай ложечкой, создал небольшую бурю, утопил в чае лимон, спросил:

– Вы, товарищ Рихтер, из Аргентины к нам в Советский Союз приехали?

– Из Аргентины.

– Живописная страна.

– Да.

– Давно в России живете?

– Я здесь родился. Потом уехал. Потом приехал.

– Прямо роман. В двадцать девятом вернулись?

– Да.

Все про их семью знал Кузнецов. Тогда зачем спрашивал?

Семья Рихтеров вернулась в Россию в 1929 году. Круг замкнулся: эмигрировали в первом году века – почти тридцать лет прожили на краю света – теперь вернулись. Уезжали в Аргентину, спасаясь от погромов, а возвращались в первое в мире государство рабочих и крестьян, где нет наций, – все люди просто советские.

Жена была урожденной «портенью», семья получилась двуязычная. Но с Россией жена была связана даже прочнее, чем он сам – Ида вступила в Аргентинскую компартию, выучила русский. Писала письма Троцкому и его сыну Седову. Ответы хранила в шкапулке, перечитывала со словарем. Когда Моисей Рихтер прославился как минеролог, в его переписке с кол-

легами появились имена русских ученых. Теперь в их дом часто приходили русские письма – то мужу, то жене.

В 1929-м Моисея пригласили в Россию, ему написал письмо академик Вернадский; Моисея приглашали участвовать в освоении Керченского месторождения. Тогда часто звали иностранных специалистов. Идеям коммунизма Моисей не сочувствовал, но свою родину помнил. Что же до жены, то она отнеслась к поездке в Москву как к самому главному событию в жизни. То, что она родила четверых детей, было не столь важно, как то, что ее, Иду, зовут в Москву! Она потребовалась русским большевикам, она нужна революции. Ида Рихтер приглашалась как один из исполнительных директоров Коминтерна. В Москве ее ждала серьезная организационная работа.

Пароход шел две недели. Маленький Соломон бегал по верхней палубе с красным флажком, старшие мальчики учили русский язык. Через семь лет три старших сына уехали на испанскую войну – испанский был родным языком, к семье Рихтеров обратились в первую очередь.

Профессор Рихтер завел большой альбом, куда подклеивал конверты, приходившие от сыновей, написал на обложке альбома «Письма из Испании».

Подросток Соломон носил письма братьев в карманах школьного пиджака, иногда читал их вслух в школе. В их школе такие письма были у него одного. Хотя разговоры об интербригадовцах шли и решение Коминтерна о комплектации интербригад было принято, за испанскую войну в интербригадах успели побывать 27 тысяч человек, а что такое 27 тысяч? За один день в Румбульском лесу или в Бабьем Яру расстреливали больше народу, несколько часов работы печей Треблинки – вот вам и 27 тысяч человек. От СССР отправили в Испанию всего пятьсот шестьдесят человек, трое из них – братья Рихтеры.

Письма из Испании были так же невероятны, как их квартира в Буэнос-Айресе на авенидо Корриентес, как настоящее сомбреро на полке шкафа, как чай мате, который заваривали по вечерам (им присылали огромные пакеты травы для мате), как кастаньеты черного дерева, как аргентинские платья матери. Письма из Испании пахли большим миром и революцией; Соломон гордился братьями и писал стихи.

Соломон спросил отца: «Ты презираешь меня за то, что я не поехал?» Ему было шестнадцать лет, он хотел бежать в Испанию вслед за братьями.

Старший сын Рихтера Алехо служил при адмирале Кузнецове, сперва командовал торпедными катерами, затем стал доверенным помощником адмирала; два средних сына, Лео и Алехандро, сражались в 15-й интербригаде, в 5-м испанском батальоне. Потом письма перестали приходиться: 5-й батальон перебили. Потом пришло письмо от адмирала Кузнецова.

– Ваши сыновья, – сказал адмирал Николай Кузнецов и наклонился над столом, чтобы приблизить лицо к лицу старого Рихтера, – храбро сражались в Испании.

– Они погибли? – спросил профессор Рихтер.

Вообще-то все люди любят детей, но евреи на своих детях помешаны – Кузнецов, как и прочие, слышал много анекдотов про эту гипертрофированную любовь.

– У вас есть еще дети? – спросил Кузнецов.

– Да, еще один сын.

– Пусть он будет счастлив.

– Моих сыновей убили? – спросил профессор Рихтер. Сказал это Моисей обыкновенным голосом, без аффектации, и адмирал Кузнецов поразился отсутствию эмоций у старого еврея.

– Вы коммунист? – спросил адмирал.

– Нет.

– У меня сложилось впечатление...

– Моя жена коммунистка. Я ученый, занимаюсь минералами. Времени не остается на политику. Что с детьми?

– Ваш старший сын, Алехо, пропал без вести. Есть подозрения, что он связался с троцкистскими элементами. Я должен поставить вас в известность.

– Он пока жив? – спросил старый еврей.

– Нет оснований считать иначе. Но он связан с троцкистами, повторяю.

– Он жив? – упорно спросил еврей.

– Да, – ответил адмирал.

– А Лео и Алехандро?

От 5-го батальона не осталось в живых никого, марокканцы перерезали раненых. Адмирал Кузнецов не ответил на вопрос. Он не рассказал также, что окруженная интербригада посылала вестовых с просьбами о помощи – но помочь им уже никто не мог. Теоретически возможно было их эвакуировать. Но планов таких не было – эвакуация троцкистов даже не обсуждалась. Пятнадцатая интербригада считалась троцкистской, а почему так считали, адмирал не выяснял. Лео и Алехандро были в любом случае обречены: если бы их не прирезали марокканцы, они были бы расстреляны как троцкисты. Что прикажете ответить еврею? Вместо ответа адмирал задал вопрос сам:

– Скажите, товарищ Рихтер, чем вы руководствовались, когда давали своим сыновьям такие имена?

– Любимые имена, – объяснил еврей.

– Возьмем имя Алехо. Имя давали в Аргентине: почему не Хуан? Не Мигель? Алехо – нетипично для Латинской Америки.

– В честь пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького, – сказал еврей.

– Алехандро?

– В честь Александра Пушкина.

– Лео? – адмирал и сам уже угадал.

– В честь Льва Толстого.

– А последнего сына как назвали?

– Соломоном.

Адмирал ждал, что будет имя Владимир – в честь Маяковского.

– Никакого писателя больше не вспомнили?

– Соломон был великий писатель, – сказал еврей.

Адмирал не нашелся что ответить. Потом все-таки сказал:

– Имеете в виду притчи Соломона? Насколько знаю, истории царь записывал не сам.

– Гомер тоже не сам записывал, – сказал Рихтер.

И они опять замолчали.

– Что с моими детьми? – спросил еврей русского адмирала, когда молчание затянулось.

– Желаю счастья вашему Соломону, – сказал в ответ адмирал, – скоро большая война, пусть вашему сыну повезет. И вам я желаю удачи.

– Да, – сказал Моисей и вышел из кабинета адмирала Кузнецова.

Старик понял, что трех детей убили, и говорить с адмиралом больше не хотел. Он был внимательным человеком и сообразил, зачем его вызывали. Слово «троцкизм» адмирал произнес несколько раз, так отчетливо, как только мог, – и глухой бы услышал сигнал. Услышал сигнал и старик Рихтер. Еврей понял, что его сыновей обвинили в троцкизме, а значит, и всю семью могут арестовать. Точнее, могут арестовать оставшихся членов семьи; ведь семьи уже нет, последний сын остался. Адмирал Кузнецов решил уберечь меня, так подумал старик. Смелый адмирал, храбрый солдат. Процессы над троцкистами были делом привычным – адмирал Кузнецов предупредил старика-отца об опасности, а вот спасти самих сыновей не стал, дал им погибнуть. Ведь сыновья были при нем, в Испании – адмирал мог бы и их пре-

дупредить. Интересно, когда их арестовали, он сказал моим сыновьям что-нибудь на прощанье? А ведь ему, наверное, дали на подпись бумажку. Ну, как у них делается. Вот, товарищ адмирал, поставьте на приказе закорючку – собираемся мы расстрелять Рихтеров. И адмирал подписал приказ. Возможно, он сам наших детей и расстрелял. Взял – и расстрелял. Вполне возможно.

Моисей поднялся со стула, постоял перед адмиралом. Он хотел плюнуть адмиралу Кузнецову в лицо и набрал во рту слюны, но плевать не стал. Он подумал, что не сможет доплюнуть до щеки адмирала, между ними был широкий стол. Прощаться Моисей тоже не стал, зашаркал к двери. Повозился с ручкой, пальцы не слушались, потом открыл дверь, вышел в коридор. Да, очень понятно: детей позвали делать революцию, строить свободный мир. Благодаря революции пришли к власти те, кому революционеры больше не нужны. А его сыновья были коммунарами. Их так воспитали. Коммунаров убивали.

На Кузнецова старый еврей больше даже не взглянул.

Когда дверь за евреем закрылась, Кузнецов подумал, что напрасно проявил несвойственную полководцу такого ранга человечность, – в ответ получил заурядное хамство обывателя. Приглашать Рихтера было ошибкой, было заранее понятно, что еврей не поймет и не оценит. Почему адмирал просто не послал вестового, зачем устроил аудиенцию? Испания связала интербригадцев неуставными отношениями, вот адмирал и позволил себе сочувствие, извинительное, вообще говоря, чувство. Под огнем в Мадриде люди давали себе несурьезные обещания – и некоторые из этих обещаний выполняли. Для чего понадобилось предупредить старого Рихтера? За доброту мы всегда платим, проверено веками. Кузнецов горько усмехнулся; досада на собственную мягкотелость занимала мысли адмирала некоторое время. Но скоро важные дела вытеснили эту оплошность из памяти. Впереди у Кузнецова были тяжелые дни – а закончились они однажды тем, что его обвинили в передаче секретных чертежей иностранной державе, судили и разжаловали. Но до этого надо было еще дожить и долго воевать.

Моисей, вернувшись домой, лег на диван, и домашние не решались с ним говорить.

Ида Рихтер, женщина волевая, потребовала отчета лишь на следующий день. Соломон вошел вместе с ней в комнату Моисея.

Моисей встал навстречу; карикатуры, которые рисовали на евреев в Германии Гитлера или во Франции времен Дрейфуса, довольно точно передают облик Моисея Рихтера – старик был смешным и пугающим одновременно: белые жидкие космы волос, ввалившиеся щеки, огромный крючковатый нос, безумные глаза, горящие ненавистью к гоям. Когда Моисей кричал, видны были его кривые щербатые зубы.

– Он не Робеспьер! И не Бонапарт. Вы заблуждаетесь, коммунисты, когда думаете, что ваш царек – Бонапарт! Нет. Он – Тьер! Я понял, кто он, твой кумир!

– Замолчи, – прошептала Ида.

– Тьер. Тьер. Тьер.

– Прошу тебя.

– Дал расстрелять коммуну. Дал пруссакам разбомбить Гернику, дал Франко взять Мадрид – вот они идут, новые версальцы из Марокко! Новые версальцы расстреляли новую коммуну. Тьер им разрешил! Тьер позволяет! Идите, пруссаки! Стреляйте в коммунаров! Третья республика! Третий Интернационал! Вот вы как сделали! Теперь к власти пришел новый Бисмарк – и спрашиваете, кто виноват! Не догадались?

Со стороны это звучало как бессмысленный набор слов; даже если бы услышали соседи – никто ничего не понял бы. Но Ида и Соломон поняли – это была образованная профессорская семья. Они знали историю Франко-прусской войны.

– Проклинаю! Проклинаю!

– Они живы?

– Спросите у своего Тьера! Маркса своего спросите – это ваш Маркс написал вашу азбуку «18 брюмера», вы ее наизусть выучили!

– Тише, прошу тебя!

– Тише?! Почему? У нас нет секретов! В брошюре товарища Карла Маркса все описано. Подробно! Чтобы порадовать Бисмарка и удержать свою буржуйскую власть, Тьер дал расстрелять коммуну. А вы не знакомы с данной брошюрой, гражданка?

– Тише!

– А зачем нужна коммуна? Зачем нужны коммунары? Пригласите прусские войска! Позовите версальцев!

Моисей тряс головой и смеялся.

Вскоре Ида вынуждена была обратиться к врачам: старый еврей перестал разговаривать; он лежал на диване, не принимал пищу. Моисея увезли в нервную клинику, он подчинился врачебному решению – без жалоб провел в больнице год; возможно, поэтому семью не тронули. Соломон навещал отца, гулял с ним под руку по больничным коридорам. Когда Моисей вышел из больницы, его восстановили в Сельскохозяйственной академии, но уже не заведующим кафедрой – дали место при Музее минералогии, поручили описывать коллекцию. Моисей имел возможность работать дома, заполнял карточки, складывал карточки в картонные ящики. С тех пор как его поместили в клинику, он не произнес ни слова – смотрел на людей, трогал предметы, писал данные о камнях на карточке, но никогда уже ничего не говорил.

Даже когда в их квартире появилась Татьяна Кузнецова – Соломон привел жену, – старый Моисей не сказал ни единого слова жене сына. Улыбнулся снохе, а говорить не стал.

Так они прожили три года – в молчании, – а потом началась война.

Соломон должен был ехать на Урал, в летнюю школу. На учебу полгода – и бомбить фрицев.

– Ты береги отца, – сказал Соломон Татьяне. – Он много пережил, позаботься о нем.

– Ты завтра едешь?

– Сама знаешь. Завтра.

Татьяна сказала Соломону:

– Пойди пока за кашей – вон, приехали к парку солдаты, кашу раздают.

Вдоль ограды парка стояли машины, и много – долгая череда машин. Вдоль колонны машин выставили караулы, через каждые десять метров – солдат с автоматом. Это были не ополченцы: одеты аккуратно, оружие начищено. Поставив полевую кухню поперек Астрадамского проезда, солдаты варили кашу, и татарчата из соседних барачных корпусов подсустились, прибежали с бидонами. Подходили и женщины, протягивали миски. Татарские женщины занимали очередь по два раза, смешно прятали лицо в платок, делая вид, будто это уже другая женщина подошла, – а повар смеялся и наливал всем. Солдат, разливавший большим черпаком жидкую перловку, тоже был похож на татарина – плоское лицо, широкие скулы, раскосые глаза.

Соломон увидел, что все солдаты такие – плосколицые и косоглазые.

– Вы откуда?

– Триста семьдесят вторая стрелковая, алтайская.

– Войны с япошками не будет – значит, решили фрицев бить, – сказал другой солдат, похожий на японца.

– А много вас приехало?

– Разное говорят, – ответил повар осторожно. – А ты кто такой?

– Не шпион, не бойся! Русский я! – сказал еврей Соломон раскосому солдату.

– Кто говорит – шестнадцать дивизий прибыло. А кто говорит: десять. Я лично знаю, что омичи здесь.

– Больше нас! – крикнул похожий на японца. – Тут все двадцать дивизий! А ты сам какого полка будешь?

– А я в Челябинск еду, в летную школу.

– Летчиком, значит, будешь?

– Бомбить буду.

– Ты, товарищ, быстрее учись, а то, пока выучишься, мы всех фрицев перебьем, тебе бомбить некого будет!

– Ничего, – сказал другой, – ему тоже достанется. Вот, поешь кашки, набирайся сил.

И жидкая каша текла по стенкам бидона.

## 6

План назывался «Барбаросса» в честь германского императора Фридриха Первого, Гогенштауфена, прозванного Рыжебородым. Фридрих Барбаросса был одним из тех великих немцев, которые объединили распадающуюся Европу, наследие Карла Великого. Объединил ненадолго, заплатил дороговую цену – но он показал, что это можно сделать! То был сизифов труд великих германских кайзеров – объединять то, что рассыпалось в прах прямо в руках; они обозревали руины – и начинали строительство заново. Они катили камень империи вверх, в гору, то был неблагодарный тяжелый труд – и многие падали, так и не дойдя до вершины.

А когда один из династии добирался до вершины и видел земли окрест, охватывал всю европейскую славу единым взглядом, тут же оказывалось, что час торжества императора короток – камень империи вырывался у него из рук, рушился вниз, разбивался на части.

Следовало начать все заново – и находился новый германец, упорный, истовый.

С тех пор как Священную Римскую империю Каролингов распри растащили на три части, Европа только тем и занималась, что пыталась собрать себя обратно в единое целое. Короли Апулии и Сицилии, герцоги Бургундии и короли Германии, лангобарды и швабы, саксонский дом и салическая династия, франконская династия и Вельфы – из них всегда выделялся один неистовый упрямец, фанатик европейской идеи – и тщился склеить то, что однажды построил Карл Великий, а потом Лотар, Хлодвиг и Карл растащили, как сороки по гнездам. Как отказаться от великого замысла?

От Балтийского моря до Средиземного простиралась великая земля, изрезанная проливами и покрытая лесами и скалами, земля богов, воспетых Гомером, и героев, описанных Плутархом. Единый план некогда связывал это пространство, и план этот еще помнился детьми и внуками героев, план этот волновал кровь королей. Курфюрсты и герцоги шли под знамена новых претендентов на корону императора, горожане упражнялись в искусстве уличного боя, женщины рожали будущих ландскнехтов и рыцарей. Говорят «Столетняя война», «Тридцатилетняя война». Война никогда не кончалась, европейцы воевали всегда. Обделили землями Лотаря – и вот вам война, вырвали скипетр у Людовика Благочестивого – и вот вам война! Образ единства манил – зачем нужна Утопия Мора, если утопия – это сама история Европы. Ведь помнят все: было однажды время, когда сидел на стене приятной округлости джентльмен по имени Шалтай-Болтай – то была цельная империя, – и вот упал этот джентльмен и разбился на части. И все королевские конницы, и многие королевские рати тщились соединить Шалтая-Болтая воедино – но дело это никому не удавалось.

Генрих Птицелов, Оттон Первый Саксонский, Фридрих Барбаросса Гогенштауфен и Карл Пятый Габсбург – все они соединяли великую Европу в одно целое, а потомки пускали по ветру их труды.

Гитлер был последним из Вайблунгов, из тех, кого в Италии именовали гибеллинами, или имперцами, – он был продолжателем дела саксонских королей и Гогенштауфенов, Габсбургов и Виттельсбахов, тех, кто собирал Европу в единое жизнеспособное целое.

И когда Адольф глядел на обескровленное тело Европы, которое ему предстояло вернуть к жизни, он понимал, что миссия – больше его самого; он – избранник; он – в черед великих королей. Ефрейтор, говорите вы? Поглядите на портал Нотр-Дам: там, над нашими головами, стоит шеренга каменных королей, и каждый из них – всего лишь ефрейтор мировой битвы. В пещере спит Шарлемань, готовый подняться по звуку рога и повести своих германцев в бой, – Европа снова будет великой, это дело солдата. Ефрейтор, говорите? Да, ефрейтор – и погоны маршала не нужны, он не кичливый азиат, чтобы вешать себе на китель аксельбанты генералиссимуса.

Непосредственно перед ним это проделал Бисмарк – собрал воедино пеструю Германию, подчинил Австрию, сломил Французскую республику, зачистил Париж от коммуны городских мещан. Мир уже обрел форму – и опять сорвалось! Началась большая, великая очистительная война, которая закончилась социалистическим фарсом. Драма века превратилась в пошлейшую комедию. Марксизм, материалистическое учение, не понимающее величия духа народа, но предлагающее людям руководствоваться низменными инстинктами, – превратило великую войну Европы в революционный балаган. Миллионы легли на полях Вердена и на Марне напрасно. Рассыпался европейский мир!

Так бывало и прежде, европейский мыслитель обязан запастись терпением – пристало разве гибеллину сетовать на поражения? Встань и иди. Сизиф свободен в своем бесконечном подвиге, потом это скажет французский экзистенциалист, а ему это приходилось доказывать жизнью, не риторикой. Втащить на вершину горы камень римской славы, добиться того же, чего добивались иные цезари и кайзеры, – но сколько тех, кто не добился, кто сломал себе шею! Неблагодарный труд, но неизбежный: Европу следует восстановить. Этим вдохновлялся Людендорф, а вот сейчас решить задачу объединения выпало ему, австрийскому художнику, ефрейтору Арденской битвы, сентиментальному брюнету с голубыми глазами. О, мир давно почувствовал, что в руках этого ефрейтора сошлось много нитей! Политика – это судьба, сказал однажды Наполеон – и судьба ефрейтора была очевидна всем политикам мира. Еще когда торжество его было неявно простым обывателям, деловой мир уже понял, кто будущий строитель Запада, – на обложках журнала «Таймс» стали публиковать фотографии Адольфа. Моменты славы, подсмотренные льстивым фотографом, – так в девяностые годы все того же двадцатого века на обложках стал появляться российский лидер Ельцин. Как и к реформатору Ельцину, на встречу с которым хлынул деловой мир: на поживу, на растерзание страны, точно вороны на брашно, – так ринулись к Гитлеру дельцы и финансисты. Он еще не был главой государства, его только вчера перестали преследовать полицейские, а на тайную встречу с ним в тридцать втором, в январе прилетел глава Английского банка сэр Монтегю Норман, и – голова к голове – они проговорили долгий вечер на кельнской вилле барона фон Шредера.

Чем не встреча императора Фридриха Гогенштауфена с папой римским Адрианом IV? – так говорил себе Гитлер. Глава финансового мира, он и есть современный папа, ибо религией сегодня является, увы, экономика. Христианство ослабило дух нации, а экономика – развратила людей, в этом несомненное сходство. Экономика стала новейшим заветом современного буржуа; спросите толстосума, во что он верит, и он укажет вам на книги бухгалтерского отчета. Материалистическая логика отменила героизм, перечеркнула будущее Европы. И какая же разница в том, как называть упадок духа – социализмом или капитализмом: и то и другое суть учения материалистические, то есть смертные. Так рассуждал Гитлер, так он писал в «Майн кампф», и логика его была следующей.

Империализм проиграл войну четырнадцатого года социализму – так порой говорят; социалистам показалось, что они вырвали у истории победу; но это ошибка. Глупцы! Они не додумали до конца то, что произошло. Марксизм подвел своих учеников. То была пиррова победа: социализм встроен в тело империализма, и когда империи пошли на дно, они всей своей тяжестью потянули за собой интернациональную идею социализма. Вот в чем сила момента! Социализму интернациональному уже не всплыть! Материалистическое интернациональное учение не может победить там, где требуется национальный дух. Социализм национальный – вот ответ новой Германии.

Консервативная революция отвергает империализм, но вместе с ним отвергает и пустой интернациональный социализм. Европейец может стать свободным только через свободу своей нации. Нация – это дух, единство, братство. Национальный социализм – родовое

братство европейца – вот в чем правда этого дня! И ему выпало объединить разоренную Европу вот этой идеей.

Это вам не судьба сибарита Гельмута Коля, которому объединенная Германия упала в жирные ладони в качестве подарка от российского дурачка-реформатора, пятнистого безумца. Ему, Гитлеру, приходилось выгрызать каждый сантиметр пространства. Ему, как Фридриху Барбароссе, как Генриху Птицелову, надо было пройти путем рейтаров по дорогам Европы, – слышите ли: путем рейтара, не ефрейтора! – и присоединить богемцев и австрийцев, Лотарингию и Аквитанию, влить их кровь в обескровленную Германию. И тогда в Аахене и Реймсе, в Кельне и Риме – во всех городах Священной империи, где принято короновать королей, будут славить его подвиг, и железную корону Лангобардов наденут на его чело. Он пройдет с верными и преданными сквозь огонь горящих городов, а если надо, он пройдет по трупам. Дух Европы (такой дух есть, не сомневайтесь, зовите его Воданом, если хотите, это не существенно) сегодня вселился него. Дух Европы живуч, его не пропили мещане, его не проиграли в рулетку декаденты. Жалко немцев? Да, многие неизбежно погибнут – вот уже и Валькирии летят над германскими городами, выбирая жертв завтрашней битвы, тех, кто первым пойдет в Валгаллу. А вслед за Валькириями над городами полетит английская авиация, и жестокий маршал Харрис, убийца Харрис, спалит дотла Дрезден. Но если отступить сейчас, если не идти напролом, – люди погибнут все равно! Социалисты их впрягут в строительство утопий, империалисты сгноят их на фабриках, а потом – так или иначе! – заставят людей воевать друг с другом за прибыль. Немцев не уберечь. А следовательно, незачем делать вид, что работа сегодняшнего дня избыточно грязна. Просто конкретная работа – и только. Он эту работу сделал, он ее сделал хорошо.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.